# В память о лучшем

# Франсуаза Саган

Посвящаю маме

Я хочу, чтобы детям открылась душа,

Искушенная в глетчерах, рифах и мелях,

В этих дышащих пеньем, поющих дыша,

Плоскогубых и голубобоких макрелях.

А. Рембо. Пьяный корабль (Пер. Д. Броцкого.)

## Глава 1

## Билли Холидей

Нью‑Йорк — город, где много воздуха, прямой, как стрела, продуваемый ветром так, что не чувствуется никакого кислородного голодания, где двумя искрящимися лентами изогнулись реки — Гудзон и Ист‑Ривер. Нью‑Йорк вибрирует днем и ночью — под порывами морских ветров, пропитанных запахами соли и бензина днем и выпитого алкоголя ночью. Нью‑Йорк пахнет озоном, морем и размякшим асфальтом, неоном; Нью‑Йорк — статная молодая блондинка, яркая, а в лучах солнца вызывающая, красивая, как «мечта, запечатленная в камне», о которой писал Бодлер; Нью‑Йорк, подобно некоторым из этих рослых, слишком ярких блондинок, тоже прячет иные свои стороны и иные районы. Короче, да простит мне читатель этот штамп (впрочем, что ему остается делать), Нью‑Йорк — город‑чародей.

И я была зачарована им с ходу, с первого раза, когда отправилась туда по приглашению своего издателя и оплатила его широкий жест тем, что мною козыряли, мне навязывали роль модной писательницы. Я возвратилась в Париж с мечтой поскорее вернуться в Нью‑Йорк, но независимой. Эту мечту я воплотила в реальность год или два спустя, когда вернулась туда, свободная от всех обязательств, отказавшись даже от одиночества, так как отправилась в поездку на пару с очень добрым другом по имени Мишель Мань — впоследствии он стал композитором, добился признания за музыку к кинофильмам и опыты с синтезаторами. Мишель Мань не знал ни бум‑бум по‑английски, но обладал бесконечным чувством юмора и сносил, даже не особенно чертыхаясь, прохожих, швыряющих банановую кожуру и окурки в ящики, куда сам он опускал любовные письма, поскольку на них было четко написано «litters»,[[1]](#footnote-1) что, с его точки зрения, означало «письма». Так или иначе, он, как и я сама, был уже десять лет одержим желанием (в то время, о котором я веду рассказ, мне было года двадцать два — двадцать три) увидеть и услышать «живьем» Билли Холидей — Диву Джаза, Леди Джаза, Леди Дей, черную Каллас, Звезду, Голос Джаза. Она была для Мишеля Маня, как и для меня, Голосом Америки, но не той, многострадальной и истерзанной Черной Америки, о которой мы узнали позднее, нет, это был голос, полный неги, с хрипотцой, душераздирающий голос джаза в его «чистом виде». От «Stormy weather» до «Strange Fruits», от «Body and Soul» до «Solitude», от Джека Тигардена до Барни Бигарда, от Роя Элдриджа до Барни Кесселя — всему этому мы с Мишелем внимали сквозь слезы или смеялись от удовольствия, хотя каждый из нас, несмотря на то что мы слушали певицу примерно в одно и то же время, воспринимал этот голос по‑своему.

Едва высадившись «У Пьера» — в единственном отеле, который был мне знаком (сюда поселил меня мой надоеда издатель в мой первый визит в Нью‑Йорк), мы спрашивали, требовали Билли Холидей. Мы воображали себе, что она, как обычно, с триумфом выступает в «Карнеги‑холле». Нам же со смущением на лицах поведали следующее (нынче это заставило бы корчиться со смеху директоров всех мюзик‑холлов мира): поскольку миссис Холидей проглотила таблетку возбуждающего средства прямо на сцене, в ближайшие месяцы выступать в Нью‑Йорке ей запретили. Похоже, в пятьдесят шестом году Америка еще отличалась пуританством и была, на мой взгляд, злопамятна. Очень злопамятна, коль скоро мы потратили три дня, прежде чем дознались, что Билли Холидей находится в Коннектикуте, где выступает в кабаре. «В Коннектикуте? Какие проблемы? Такси — и… поехали!» Но оказалось, что съездить из Нью‑Йорка в Коннектикут совсем не то, что из Парижа в Ивлин, как мы себе это представляли. Мы отмахали километров триста и продрогли до костей, пока не заявились вдвоем в странноватое убогое заведение — или оно мне таким показалось; это был своего рода клуб любителей стиля кантри, с далеко не шикарной публикой, болтливой, крикливой и непоседливой. Нежданно‑негаданно из недр зала возникла высокая и статная чернокожая женщина с красивым разрезом глаз, которые она прикрывала, перед тем как запеть. И мы тут же перенеслись в божественный мир, где царили веселые и грустные, исполненные неги или скабрезные мелодии — в зависимости от прихоти певицы. Мы чувствовали себя наверху блаженства, это был предел наших мечтаний. И думаю, несмотря на холодину, мы опять проделали бы эти триста километров, вновь приехали бы, чтобы испытать такое же наслаждение, если бы кто‑то не догадался представить нас певице. Ей объяснили, что эти двое французиков преодолели бескрайние просторы Атлантики, пригороды Нью‑Йорка и границы штата Коннектикут с одной‑единственной целью — услышать ее. «О Господи! — нежно произнесла та. — How crazy you are!..»[[2]](#footnote-2)

Два дня спустя мы снова увиделись у Эдди Кондона в четыре часа утра — время, которое она, похоже, считала единственно подходящим и удобным для всех людей. Эдди Кондон был, кажется, хозяином ночного кабаре, очень популярного в ту пору — кабаре для белых в деловой части города, — словом, хозяином, достаточно любившим джаз, чтобы с уходом посетителей, охочих до выпивки, доверить свое заведение музыкантам, жаждущим чего‑то иного. В три тридцать ночи он запер главный вход, и мы, проникнув через служебный, попадали в просторное помещение, почти что погруженное во тьму: в нем выделялась только ослепительная белизна скатертей — столы были уже накрыты для следующего наплыва посетителей, — а на сцене в прожекторах сверкали силуэты медных инструментов, пианино и контрабаса.

Мы провели две недели, а точнее, пятнадцать рассветов — с четырех утра до одиннадцати или полудня, — в этом неизменно прокуренном кабаре, слушая пение Билли Холидей. Иногда Мишель аккомпанировал ей на пианино, чем безумно гордился, а иногда играл кто‑нибудь из бесчисленных музыкантов или обожателей Билли Холидей, созванных словно по сигналу джазовых тамтамов, пронесшемуся по ночному Нью‑Йорку; он сзывал их одного за другим, на этой заре или на следующей, из всех существовавших клубов. Слушателями, кроме нас — двух французов, были двое‑трое друзей леди Дей и ее мужа, ее партнера на тот момент жизни; это был рослый, мрачный тип, с которым она разговаривала довольно грубо. А на сцене, помимо ударника Кози Коула, выступали двадцать популярных джазменов — один знаменитее другого. Джерри Мэллиген вторил голосу нашей подруги — она теперь стала ею, — звучавшему среди винных паров, взрывов смеха, споров и стычек, быстро вспыхивающих и так же быстро угасающих. На прощание наша подруга потрепала нас по головам, как несмышленых детишек, а мы, расставаясь с ней, так и пребывали в полном неведении относительно ее трагического прошлого, ее ужасающей судьбы — безалаберной и сумбурной, но талантливой. Билли Холидей умела наслаждаться жизнью и преодолевать отвращение к ней очень просто: прикрыв глаза и извлекая из глотки звук наподобие странного стона — бесстыжего и в то же время мучительного… неподражаемого, — крик торжествующей и деспотичной царственной личности во всем ее естестве; ибо в Билли не было никакого наигрыша, внешний облик ее был безмятежен. Я не знала тогда, что существование само по себе могло наполнить все извилины ее мозга, самого скрытного и самого необычного. Не знала, что она была существом с содранной кожей и кровоточащим сердцем, которое шло по жизни, противопоставляя ударам судьбы или ее ласкам всего лишь свой голос. Она была роковой женщиной в том смысле, что Рок преследовал ее уже с младых ногтей, на каждом шагу, похоже, не оставляя ей после тысячи полученных ран тысячи не менее мучительных наслаждений, никакой иной защиты, кроме насмешливой интонации голоса — этой странной хрипотцы, когда она, взяв слишком высокую или слишком низкую ноту, воспаряла очень высоко, а затем внезапно возвращалась к нам с тихим веселым смешком и глядела гордо, но с опаской.

###### \* \* \*

…В те дни мы сильно недосыпали, и могу поклясться, что нам — мне, ей и Мишелю — случалось пешком подниматься по Пятой авеню, шагать по середине улицы уже при ярких лучах солнца; мы были одни в безлюдном Нью‑Йорке, где после плача саксофонов, барабанной дроби ударных инструментов и раскатов ее голоса наш перенасыщенный звуками слух не способен был воспринимать ничего, кроме отзвука собственных шагов по мостовой. Я могла бы поклясться, что видела Нью‑Йорк безлюдным в полдень — ни одной души, кроме этой статной женщины и ее молчаливого спутника, который, наскоро обняв нас, исчезал в длинном пыльном лимузине — неотъемлемом атрибуте американских детективов.

Но я не смогла бы рассказать, что еще мы делали в течение дня. Помимо нескольких часов, которые мы против собственной воли отдавали сну, мы, кажется, как зомби бродили по этому глухонемому городу, где единственным оживленным местом, единственным нашим прибежищем была сцена с бледным светом прожекторов и расстроенным пианино… и эта женщина, которая, случалось, признавалась, что перепила и не сможет петь, после чего, забавы ради, путая слова в куплетах, находила для них другие, комичные или хватающие за душу, однако моя память не сохранила больше ничего. И, как ни странно, я никогда об этом не пожалела: Нью‑Йорк стал для меня самым сумрачным, самым беспросветным городом — просветления наступали лишь при звуках голоса певицы; теплыми ночами наше переутомление, самозабвение и опьянение сливались воедино, пульсируя, как море. Зыбкое море, где каждое хорошо сохранившееся воспоминание всплывало обломком кораблекрушения или банальностью.

Я повстречала ее опять год или два спустя в Париже темной ночью. Должно быть, я написала ей пару раз, чтобы поблагодарить, узнать, как и что, но певица не отвечала; она была не из тех, кто любит писать письма, и только из газет я узнала, что однажды вечером она будет петь в Марс‑клубе, в «тупике Марбеф». Мишеля Маня я тогда потеряла из виду и отправилась слушать ее с моим мужем. Мы приехали задолго до певицы в это маленькое, слабо освещенное ночное заведение, даже отдаленно не напоминающее гигантский клуб Эдди Кондона: здесь было уютнее, хотя выступать пострашнее, поскольку в тот вечер народу было немного, но публика собралась отменная. Ближе к полуночи, когда мое терпение уже иссякало, распахнулись двери, и кто‑то вошел в окружении шумной группы людей. Это и была Билли Холидей, она и не она: похудевшая, постаревшая, руки сплошь в точках от уколов. Она утратила былую уверенность в себе и то равновесие, которое делало ее мраморным изваянием посреди бурь и головокружительных перипетий жизни. Мы кинулись в объятия друг друга. Она рассмеялась, и я снова ощутила по‑детски романтическое ликование, испытанное в Нью‑Йорке, уже таком далеком Нью‑Йорке, городе, предназначенном лишь музыке и ночи, как некоторые дети предназначены для белой и голубой одежды. Я познакомила Билли со своим мужем, смешавшимся в присутствии этой женщины, столь естественной и в то же время столь экзотичной. И только в этот момент я осознала, что миллионы световых, вернее, сумрачных лет отделяли меня от нее, но она великодушно сумела это сгладить, по‑дружески не дала мне почувствовать эту пропасть в течение тех двух недель, навсегда ушедших в прошлое. Все проблемы ее расы и ее собственные проблемы были отброшены в сторону при нашей первой встрече, забыто ее мужество в смертельной схватке с нищетой, предрассудками, безвестностью, алкоголизмом; был еще конфликт белых и небелых — их злейших врагов, была борьба с Гарлемом, Нью‑Йорком, с исступленной ненавистью к черному цвету кожи и другой, не менее лютой, — к таланту и успеху. И она никогда не давала повода задуматься над ее невзгодами — ни Мишелю, ни мне. Конечно же, нам следовало догадаться самим. Но мы, якобы тонко чувствующие европейцы, на поверку оказались беспечными дикарями. При одной этой мысли слезы навернулись мне на глаза, и я не могла утешиться весь вечер.

###### \* \* \*

На сей раз Билли Холидей сопровождал не муж, а молодые люди, шведы или американцы, точно не помню. Они вели себя по отношению к ней весьма предупредительно, но, похоже, столь же мало знали о ее судьбе, как и я сама. Они восхищались певицей, но оказались совсем не предприимчивыми и ничего не сделали для подготовки ее концерта. Как это ни поразительно, не нашлось даже завалящего микрофона на черном пианино, на которое Билли уже опиралась, не обращая внимания на аплодисменты. Началась суматоха. Кто‑то, став на четвереньки, пытался наладить старый микрофон, который хрипел и сипел, кто‑то побежал на «Виллу д’Эсте» или еще куда‑то, поискать другой; все кругом нервничали, бессмысленно суетясь. Спустя некоторое время она, как бы смирившись с ожиданием, присела за наш столик и стала рассеянно пить, иногда обращаясь ко мне своим хриплым, прокуренным голосом, полным сарказма, совершенно безразличная к тому, что происходит вокруг. Она почти не разговаривала с моими друзьями, лишь мимоходом спросила моего первого мужа, бьет ли он меня, и насмешливо посетовала, что он этого не делает. Я обиделась, но мои упреки ее только рассмешили, и тут мне на краткий миг послышался отзвук ее смеха у Эдди Кондона, когда все мы были такими молодыми, счастливыми, талантливыми, когда микрофон работал — а впрочем, тогда она пела, не нуждаясь в микрофоне, — но этого я не решалась сформулировать даже себе самой. В конце концов с микрофоном или без — уже не скажу — она исполнила несколько песен в сопровождении квартета, неуверенно следовавшего за непредсказуемыми модуляциями ее голоса, также звучавшего неуверенно. Мое восхищение певицей, питаемое воспоминаниями, было столь велико, что мне она казалась изумительной, несмотря на ужасное, до слез обидное несовершенство этого сольного концерта. Она пела, опустив очи долу, пропускала куплеты, с трудом восстанавливала дыхание, держалась за край пианино, как держатся за поручни в бурном море. Люди, присутствовавшие на концерте, несомненно, пришли с тем же настроением, что и я, судя по их бурным аплодисментам, она же в ответ насмешливо и сочувственно поглядывала на них исподлобья — в действительности же этот беспощадный взгляд адресовала себе самой.

Исполнив несколько куплетов, она подошла к нашему столику и опять присела — ненадолго, совсем ненадолго, так как назавтра уезжала не то в Лондон, не то куда‑то еще в Европе. Так или иначе, она сказала мне: «Darling, you know, I am going to die very soon in New York, between two cops».[[3]](#footnote-3) Разумеется, я уверяла ее, что этого не произойдет. Я не могла и не хотела ей верить; все мое отрочество, очарованное, убаюкиваемое ее голосом, отказывалось принять ее слова. Вот почему я была ошеломлена, когда несколько месяцев спустя, открыв газету, прочитала, что Билли Холидей умерла накануне ночью, одна, в больнице. В ту ночь при ней не было никого, кроме двух полицейских.

## Глава 2

## Азартная игра

Мы встретились 21 июня. На этот летний день падает мое рождение. Вечером того 21 июня, когда мне исполнился двадцать один год, я решительно шагнула к этой встрече на порог казино «Палм‑Бич» в Каннах в сопровождении двух родственников, которые решили позабавиться, впервые выпустив меня за зеленый стол. Присутствовали они лишь при моих первых шагах. В дальнейшем, ускользнув от их бдительных очей, я продолжала гонку из казино в казино уже без чьей‑либо опеки.

###### \* \* \*

(NB. Что бы там ни говорили, но я не просаживала за игорными столами целых «состояний», поскольку, как ни странно, никогда ими не располагала. Я оставляла в казино лишь крохи своего образа жизни, предполагавшего не роскошь, а мечту о жизни без материальных забот, жизни, в которой лица окружающих не омрачались бы никакими горестями, кроме любовных. Стремление обеспечивать себе день сегодняшний, если не дни грядущие, никогда не оставляло мне таких средств, какие я могла бы разбазаривать по воле случая! А посему мне ничто не мешало постоянно играть, как бы рискуя, что и является основным принципом азартной игры. К тому же чаще всего мне сопутствует везение, так что директора казино, где я смогла побывать, должно быть, криво усмехались, если разговор заходил о миллионах, якобы оставленных мной у них в залах. Я настаиваю на этом отступлении, дабы избежать подозрений в мазохизме и еще для того, чтобы меня, невезучую, не чурались партнеры. Как все мои друзья всегда были настоящими, так и везение всегда было моим настоящим партнером, хотя и переменчивым.)

###### \* \* \*

Итак, наша первая встреча состоялась в счастливый день моего рождения. В те годы в конце июня в Канн съезжались именитые завсегдатаи «Палм‑Бич». Там пребывали тогда Дэррил Занук, супруги Коньяк Эннеси, вроде бы Джек Уорнер и другие сильные мира сего и крупные игроки перед ликом Всевышнего. Меня осмотрительно старались не подпускать к их столу, и я, наблюдая за битвой титанов, была скорее ошеломлена, нежели взволнована. Постигнув правила «железной дороги», узнала, что, имея на руках две карты, при условии, что их общая сумма 8 или 9, можно за один присест выиграть 50 миллионов старых франков; вернув их в игру, можно выиграть 100 миллионов или просадить все до последнего франка — по‑прежнему с двумя картами на руках. Больше, чем громадные суммы, мое воображение поражала быстрота их перемещения из рук в руки. Я представляла себе, что за два хода смогу кардинально переменить свою судьбу, не ведая того, что в казино, как и в любом другом месте, деньги воплощаются в чеки, а их в казино принимают без большой охоты: осмотрительность директора, нередко своекорыстная, иногда оказывается тормозом для безумных игроков — либо спасительным, либо роковым.

К концу вечера я осела со своими ангелами‑хранителями, или, лучше сказать, со своими злыми гениями, у столика, где шла игра в рулетку, и тут с удивлением открыла для себя, что моими счастливыми номерами были 3, 8 и 11 — моя особенность, о которой доселе я знать не знала и которая так и осталась при мне на всю жизнь. Я обнаружила, что предпочитаю черное красному, нечетные цифры четным, первую половину серии второй, и многое другое выбирала по наитию, что наверняка заинтересовало бы психоаналитиков. Вначале я проиграла небольшую сумму, затем сорвала банк, что мне показалось в порядке вещей, зато повергло в шок моих спутников. «Подумать только, девочка не успела присесть, а уже сорвала банк!» Я просадила весь свой выигрыш за столом «железной дороги», а поскольку мне было трудно разбираться в картах, не помеченных цифрами, ко мне приставили очаровашку‑крупье, который решал за меня, как ходить. Так я выяснила, что при равном шансе не должна ставить на 5. (Таким образом, прочтя эти строки, любой игрок получит полное представление о моей системе игры.) Для себя лично я выяснила также, что в азартной игре, как нигде, важно скрывать эмоции. Читая их весь вечер на преувеличенно напряженных лицах игроков — именно так переигрывают плохие актеры, передавая целую гамму чувств: подозрительность, уверенность, разочарование, отчаяние, упорство, обличение, ликование или безразличие, сыгранное хуже всего, — я решила про себя, что в дальнейшем, как бы ни шли дела, я противопоставлю ударам или ласкам судьбы улыбку и даже приветливое выражение лица. И подобно тому, как не менялись мои заветные цифры, так не изменилась ни на йоту и эта линия поведения. Даже более чем флегматичные англичане восхищались моим хладнокровием, что, признаюсь, подогрело мое тщеславие больше, чем иные добродетели, которые я сумела или вообразила, что сумела, приумножить за годы жизни.

###### \* \* \*

Не собираюсь пускаться тут в объяснение притягательности азартной игры: каждый человек от природы либо игрок, либо не‑игрок; игроком рождаются, как рождаются рыжим, умным или злопамятным. Так что пусть не‑игроки пропустят несколько последующих страниц, где описаны анекдотические случаи, — они могут потешить или устрашить только моих единомышленников. Это правда, что игра — привычка, поглощающая все силы; это правда, что, увлекшись игрой, можно заставить прождать два часа человека, которого любишь больше всего на свете; это правда, что игра помогает забыть про долги, неприятности и материальные затруднения, когда дело — дрянь, чтобы час спустя обрести свои проблемы вновь, уже в десятикратном размере. Целый час ваше сердце будет усиленно колотиться, на этот час вы позабудете о песочных часах быстротекущего времени, позабудете бремя денежных проблем и цепкие «щупальца» общества, которые мешают вам спокойно спать. Это правда, что деньги, пока играешь, опять становятся тем, чем и должны были бы оставаться раз и навсегда, — игрушкой, жетонами, чем‑то взаимозаменяемым и не существующим в природе вещей. Правда и то, что настоящие игроки редко бывают злыми, скупыми, агрессивными. Как правило, им свойственна терпимость, как и всем, кто не страшится утратить то, что имеет. Они из тех людей, для кого любое материальное или нравственное приобретение временно, любое поражение — случайность, а всякая победа — дар небес.

###### \* \* \*

— Еще больше, чем в казино, где темп, в каком развертываются события, вызывает порой неприятный ажиотаж, такое можно наблюдать на ипподромах. Если не считать дней скачек на Большой приз в Лоншане, как правило, на тотализаторах нет и следа классовых предрассудков, отравляющих существование так называемых демократических обществ. Там не существует никаких социальных различий, не существует богатых и бедных, есть только выигравшие и проигравшие, причем сумма их выигрыша или проигрыша не имеет ровно никакого значения. Я видела, как грузчики от всей души утешали Ги Ротшильда, когда его лошадь не пришла к финишу. Я видела своими глазами, как богатые парижане унижались перед барменами, умоляя подсказать, на какого скакуна ставить, как отъявленные ничтожества становились предметом всеобщего восхищения, когда потрясали десятифранковым банковским билетом. Думая об их пороке, фанатизме и роковом увлечении, надо не забывать, что игроки — это прежде всего дети; и если может статься, что они рискуют пропитанием своих чад, ставя на скакуна, не имеющего шанса на выигрыш, для них самих это ничто в сравнении с репутацией: полдня выигрышей в Отейе или Венсеннах за счет усердной интуиции на протяжении семи забегов подряд делают человека знаменитостью, приносят ему славу, и отказаться от этого способны лишь немногие мужчины, как, впрочем, и женщины, достойные называться женщинами. Зато переживать «невезуху», преследующую вас целую неделю, день за днем, ни разу не поставить на «ту» лошадь — вот что делает вас изгоем, окаянным, таким же несчастным, как и тех верующих в Средние века, которые воображали, что лишились Божьей благодати, что Бог разлюбил их.

###### \* \* \*

Но вернемся наконец к игре — настоящей игре, той, что увлекает вас дальше, чем думаешь, той, что, совершенно очевидно, менее опасна на скачках, нежели в казино. Кассы тотализатора кредита не предоставляют, чеков не принимают, и немало невезучих игроков уже после третьего или четвертого забега вынуждены, хочешь или не хочешь, понуро удалиться. А вот в казино, если пользоваться там некоторым кредитом, дела обстоят посложнее. Когда мне было от роду двадцать один год, меня считали богачкой, и такое премилое заблуждение продолжало пленять иных директоров игорного зала и в дальнейшем. И вот спустя три месяца после моего приобщения к игре я оказалась уже в казино Монте‑Карло и участвовала там в судьбоносной партии за игорным столом, где моим партнером был король Фарук собственной персоной. Я все еще не умела расшифровывать «немые» карты, и тут со мной произошли два казуса: имея на руках карту 1, я приняла ее за 7 и не прикупила, тогда как Фарук, имея на руках 4, прикупил. Я, разумеется, выиграла. Но в тот момент, когда я открыла карты, все вокруг встрепенулись и заверещали от возмущения. Однако я была в своем святом праве на проигрыш, и на меня махнули рукой. В панике я в следующей партии прикупила к 7 даму, благодаря которой взяла верх над Фаруком с его 6. С ним чуть было не случился апоплексический удар, а присутствующие дамы едва не растеряли свои бриллианты. После чего и было принято решение приставить ко мне крупье‑советника. В тот вечер я, конечно, выиграла, однако же не припомню другого случая, когда бы мои выигрыши сопровождались таким конфузом.

Летний сезон закончился бы для меня спокойно, поскольку в Сен‑Тропезе, слава богу, казино не было. Но надо же такому случиться: в то лето сюда понаехало столько отдыхающих, что в разгар летнего сезона жизнь там стала невыносимой, и я перекочевала на менее людные пляжи Нормандии. Сняв повыше Онфлера большой дом, запыленный и запущенный, я приготовилась было провести там июль, наслаждаясь морскими купаниями, но тут всплыли два обстоятельства, увы, оказавшиеся взаимосвязанными, а именно: что море находится у черта на куличках, зато казино в Довиле открыто круглые сутки. Так что солнечные дни мне заменили ночи. Отныне мы — Бернар Франк, Жак Шазо и я сама — жили только по ночам и на рассвете, лишь иногда, в промежутке, вкушая прелести травки‑муравки. Постукивание фишек заглушало нам пение птиц, а зеленое сукно игорных столов заменяло зелень лугов. 7 августа, накануне того дня, когда мне следовало по условиям контракта вернуть дом хозяину и составить опись имущества, что оказалось делом хлопотным, мы отправились в последний, по нашему разумению, раз в большое белое казино, которое все еще оставалось вотчиной Андре. Очень скоро, разорившись на «железной дороге», я пересела к рулетке и по милости 8, которая выпала мне незамедлительно и надолго, на заре следующего дня оказалась обладательницей 80 000 новых франков (дело было в 1960‑м). Мы возвращались домой окрыленные, однако перед дверью нос к носу столкнулись… с домовладельцем, который, зажав инвентарную опись под мышкой, сурово обратил мое внимание на то, что время восемь утра — час, назначенный нам для отъезда. Я начала было просматривать с ним злосчастную опись, когда он спросил меня, как бы невзначай, а не хотела бы я приобрести этот дом. Я открыла рот, собираясь ответить, что не имею обыкновения покупать что бы то ни было, что я квартиросъемщица по натуре, но тут он прибавил: «Учитывая необходимость ремонта, я продаю его по дешевке — за 80 000 франков». Дело было 8 августа, я оказалась в выигрыше благодаря ставке на 8, хозяин продавал свой дом за 8 миллионов старых франков в 8 часов утра… Что, по‑вашему, оставалось мне делать при таком раскладе? Я торжествующе извлекла банковские билеты из распухшей от них вечерней сумочки, сунула все бумажки ему в руку и отправилась спать.

С той минуты моей единственной собственностью на земле стал и остается по сей день дом, по‑прежнему нуждающийся в ремонте, расположенный в трех километрах от Онфлера (и в двенадцати от Довиля).

###### \* \* \*

Но пусть мне не говорят ни о пагубе азартной игры, ни о роке, нависшем над игроками. Не стану распространяться о нескончаемых ремонтных работах, о разных там бедствиях, так или иначе связанных с жизнью в этом деревенском доме, — они знакомы всем домовладельцам. Расскажу‑ка я лучше о двадцати пяти счастливых годах, проведенных под его крышей, о дожде вперемежку с солнцем, о рододендронах, обо всех моих тамошних каникулах. Этот дом, двадцать раз заложенный, дважды чуть было не проданный, где уединяются мои друзья‑трудяги и мои друзья‑влюбленные, — сегодня цена этому дому равна 8 миллиардам воспоминаний.

И само собой, он — свидетель наших бессчетных возвращений рано поутру с победным видом или понурой головой, но неизменно возбужденных и беспечных, что достигается упражнениями в Игре. В моей цепкой памяти роится сонм анекдотических случаев, связанных с завтраком, когда мы либо заливали поражение кофе, либо обмывали победу шампанским; с дверями, которые мы либо приоткрывали потихонечку, со всеми предосторожностями, оставляя за ними свои незадачи, либо распахивали во всю ширь, победно объявляя какому‑нибудь засоне: «Гуляем!»

Однажды некто, стартовавший с 200 франками, уносил в кармане 60 000. В другой раз я сама из‑за скверной дикции сбила крупье с толку, и тот, в запарке, отправил мои последние 100 франков вместо «мимо» на 30, и эти 30 принесли мне солидный куш. А как‑то некий господин выиграл все, что просадила некая дама, и еще столько же, а другой господин сподобился купить автомобиль, о котором мечтала дама его сердца, но порой приходилось скидываться по мелочи на бензин, чтобы вернуться в Париж, не говоря уже о том, сколько раз я, возвращаясь домой, была вынуждена одалживаться у портье: не наскребалось денег на такси.

Любопытно, что самые яркие воспоминания всегда связаны с победой. Вспоминается только хорошая погода, как, впрочем, и только симпатичные игроки. С ума сойти, сколько безымянных друзей и единомышленников можно заиметь за двадцать пять лет! Бывает, что одно и то же лицо встречаешь каждый день и каждую ночь — и так три месяца подряд, потом в следующем году, а случается, и три года кряду. И все молчком — ни одного слова, кроме «здравствуйте» да обмена улыбками или сочувствиями, в зависимости от траектории событий за игорным столом. Разделяя радость удачи и горесть невезения, игроки связаны узами прочнее тех, что способны породить даже самые доверительные, самые интимные отношения. Так что иных друзей по игре не теряешь из виду, а порой, случайно узнав от выездного лакея о кончине одного из таких, как это ни абсурдно, скорбишь сильнее, чем можно было бы себе вообразить.

Некоторые игроки приобщаются к игре слишком рьяно. В начале августа они пыжатся, красуясь в автомобиле, надраенном до блеска, однако, наблюдая за ними в «Солнечном баре», замечаешь, что их лица день ото дня выглядят все более осунувшимися, и недели две спустя узнаешь, что они бежали очертя голову — только их и видели. Утраченные грезы, разбитые мечты… Прощай, купол казино на рассвете, прощай, белесое море, пляж без пляжников, первые лошади, гарцующие при ярком солнце, от которого щурятся воспаленные от табачного дыма глаза.

И вот после ряда сплошных незадач, в один прекрасный вечер, достойный пера Достоевского, в трагический вечер, я запретила себе играть в ближайшие пять лет. Скажу сразу — эти пять лет обернулись кошмаром. Звукам всех труб со всех прокручиваемых пластинок не удавалось перекрыть позвякивание фишек над нашей головой, а когда, направляясь потанцевать, мы шли мимо входа в казино, я слышала грудной голос крупье, возвещавший: «Ставки сделаны! Ставок больше нет!» Этот голос резонировал, аки глас Моисея или благодетельного, но строгого Бога, изгнавшего нас из рая. Я говорю «нас», поскольку мои друзья, верные и преданные, сопереживали мне, наложившей на себя картежную епитимью, и ускользали из дому втихаря, поодиночке, дабы попастись на зеленых пастбищах запретных наслаждений. Меня же снедала мысль, увы, запоздалая: «Следовало бы наложить запрет на все и всяческие запреты!» Я возненавидела Монте‑Карло, где нельзя было играть, и мне ничего не оставалось, как отправиться в Лондон, где вообще‑то мне было нечего делать.

###### \* \* \*

Делать в Лондоне мне было нечего, однако мой тогдашний литературный агент объявил, что некий зловредный англичанин — как его звали и чем он занимался, я начисто позабыла, — так вот, что он, нажив на мне целое состояние, вроде бы 25 000 франков, отказывается уплатить свой долг. Я решила поехать, чтобы, во‑первых, с помощью агента взыскать с него деньги, поскольку мои финансы пели романсы, а во‑вторых, побывать в Лондоне, который я знала плохо, впрочем, как и по сей день. К тому же я вспомнила одного милого знакомого, с которым давненько не виделась. Это было десять лет назад, и все же расходы на билет и отель сложились в приемлемую сумму. Короче, мы отправились в Лондон, остановились в отеле — копия тех, что фигурируют у Агаты Кристи, — а вечером меня и моего агента пригласил на ужин тот самый милый знакомый. Мы ужинали в ресторане «Аннабель», по тем меркам весьма изысканном, и за десертом мой английский кавалер сообщил мне, что этажом выше — прямо над нами — находится клуб «Клермон». Мне рассказывали о нем парижские друзья — с восхищением и некоторым испугом — как о типично английском клубе, где игра достигает высокого накала, несмотря на всю холодность британцев.

Словом, мы поднялись в игорный зал, где мой друг представил меня, но, наслышанный о моих пристрастиях, покинул на часок за столом «железной дороги», а сам спустился выпить за мое здоровье на пару с агентом, который, по правде сказать, несколько встревожился. Тем временем я стала осматриваться. То была просторная, но уютная зала с обшитыми деревянной панелью стенами и кожаной мебелью. Здесь находилось несколько неподражаемых образчиков английского высшего общества: владельцы конюшен, которые в перерыве между партиями вели разговоры исключительно о забегах; две экстравагантные старушенции в шляпках, украшенных цветами, и увешанные фамильными драгоценностями; недостойный юный наследник одной из самых славных фамилий Англии, а прямо передо мной — великосветский друг из Парижа, который тоже с перепугу завращал глазами, увидев, что я усаживаюсь за большой стол. Играли на гинеи, я же не имела представления об их котировке, и кто‑то сбивчиво забормотал мне на ухо объяснения, а чья‑то услужливая рука тут же подала мне кучу жетонов и подсунула бумажку, которую я весело подмахнула, после чего игра началась.

###### \* \* \*

Все это было премило, должна признаться. Англичане слывут лучшими игроками в мире, и, похоже, только игра их и оживляет. Итак, слева от меня шел разговор о лошадях, справа — о регатах, визави — о путешествиях, а тем временем моя кучка фишек таяла с каждым заходом, но никому до этого не было ровным счетом никакого дела, в том числе и мне самой. Едва лишь эта кучка испарилась, как вышколенный лакей поставил перед моим носом серебряный подносик с другой, я подписала еще одну бумаженцию и т. д. Час спустя из этой блаженной летаргии меня выхватило внезапное появление за моей спиной агента с позеленевшим лицом. Он забормотал что‑то невразумительное, однако я уловила повторяющиеся слова вроде «дело дрянь» или «катастрофа». И тут я заметила, что лицо моего парижского знакомого, сидевшего напротив, стало пунцовым, и он уже не вращал глазами, а наоборот — вперил их в меня, а лицо его напоминало теперь морду раненой волчицы. Чуть встревожившись, я обратилась к живчику‑лакею и попросила его изобразить на бумажке, сколько я задолжала. Тот ушел проконсультироваться с высоким крупным мужчиной, очень симпатичным, который расхаживал между столами с самого начала игры: он оказался не кем иным, как патроном этого клуба. Мгновенно суммировав несколько цифр, он изобразил результат на бумажке, а курьер с той же прытью поспешил вручить ее мне. Когда я развернула ее, мне потребовались все мои принципы, все душевные силы, все хорошие манеры, какие тщились привить ребенку мои родители, и все плохие, каких я сумела понабраться сама, чтобы не свалиться со стула: мой долг составлял 80 000 фунтов стерлингов, что в пересчете на тот момент было вдвое больше во франках, тогда как на моем банковском счету хранилась с натяжкой лишь четвертая часть таких денег. «Ваш ход», — с сильным акцентом сказал мой любезный сосед, пододвигая ко мне «лопаточку», и я, округлив ладошку и сдерживая дрожь руки, отгребла половину еще остававшихся у меня фишек, которые тут же осели на девятке. Пододвинув «лопаточку» к следующему игроку, я пыталась осмыслить создавшуюся ситуацию. Для уплаты такого огромного долга мне придется съехать с квартиры, отдать сына на попечение мамы, найти поблизости от нее однокомнатную квартирку и два года ишачить одновременно на налоговую инспекцию и на клуб «Клермон» — другого выхода не было. Прощайте каникулы, машина, светская жизнь, наряды и беззаботность. Ситуация была катастрофической настолько, что я подумала: что два выброшенных из жизни года, что четыре — уже не имеет значения. С рассеянным видом я подняла руку, шустрый лакей незамедлительно вырос рядом со своей треклятой кучкой на треклятом подносе. Я опять подписала одну из его треклятых бумажек и зычным голосом провозгласила ва‑банк. И выиграла. После чего, не переставая, ставила ва‑банк всякий раз, как мне представлялась возможность. Я, как говорится, сорила деньгами, но — о чудо! — выигрывала. Я видела, как моя кучка росла — невыносимо медленно, но и невероятно быстро. Время от времени я просила лакея избавлять меня от всех этих завалов на столе, в результате чего он вернул мне одну из расписок и, надорвав ее, тем самым погасил. После часа, который стоил мне адского напряжения, я тихонько спросила курьера в шелковых чулках, как обстоят мои дела. Он пошел осведомиться у патрона, и тот, как я увидела краешком глаза, мгновенно сложив цифры, прислал мне записочку, которую я развернула, не выдав внутренней дрожи от нетерпения. Мой долг составлял уже менее 50 фунтов. Добавлю, что весь этот час мне еще пришлось беседовать, кажется, о дерби в Эпсоме со своим соседом слева и о прелестях Флориды — с соседкой справа.

###### \* \* \*

…Я поднялась с места, будто вдруг почувствовав усталость, любезно раскланялась с присутствующими, которые ответили мне тем же, и направилась к кассе уплатить должок — 50 фунтов. Патрон проводил меня до лестницы — той самой, что вела в ресторан, по которой два часа назад я поднималась такая веселая, а часом позже едва не сошла обратно, раздавленная проигрышем. «Весьма приятно было сидеть с вами за одним столом, — довольно‑таки любезно попрощался со мной сосед слева. — Тем более что французы, как правило, во время игры легко теряют хладнокровие». — «О, — парировала я голосом, который мне самой показался обессиленным. — О‑о, откуда вы это взяли? Ведь игра — это удовольствие, не правда ли?»

Я спускалась по ступенькам, пошатываясь на своих шпильках. Англичанина весьма позабавил мой рассказ, а вот перепившего агента мы доставили в отель с превеликим трудом.

Неделю спустя, в Париже, на одном fashionable[[4]](#footnote-4) ужине я поняла, что о моих лондонских приключениях здесь уже наслышаны, о них поведал парижский свидетель, о чем говорило подчеркнутое ко мне уважение и нечто вроде суеверного страха, с каким относятся к человеку, уцелевшему в авиакатастрофе.

Итак, эта забавная история интересна лишь в одном отношении (потому‑то я и решила ее рассказать) — она наглядно показывает всю опасность любого запрета, даже если он исходит от тебя самого. Так что за неделю до истечения срока действия данного себе слова я отправила письмо какому‑то чину из полицейской префектуры, которому не было до этого ровным счетом никакого дела, извещая его, что намерена продолжить свои глупые занятия. Довиль оказался менее опасным, нежели Лондон, а франк — менее предательским, нежели гинея (хоть я и уцелела благодаря чуду). Вот почему, думается, покидая казино, встречаешь столько веселых игроков, хотя они ничего и не выиграли. «Я профукал двести франков», — признаются они, ликуя, к превеликому удивлению не‑игроков. Игроки не любят проигрывать — я веду речь об игроках настоящих. Просто иногда они радуются, что к концу игры их проигрыш меньше, чем случалось по ходу игры. Они поздравляют себя с этим, они горды собой — и не без основания, поскольку не надо обманываться: игра требует не просто безрассудства и наличия у вас ужасного и неистребимого порока, — она требует еще и хладнокровия, воли и добродетели, именуемой по‑латыни virtus, — мужества. Допустим, тебя явно преследует невезение, ты проигрываешь раз за разом, целую ночь, целую неделю и уже думаешь, что тебя покинули боги, удача отвернулась, и ты предал самого себя, — но внезапно игра вроде бы начинает складываться в твою пользу. Тут требуется огромное усилие, чтобы снова поверить в это, ухватиться за удачу, вцепиться в нее мертвой хваткой и воспользоваться ее милостью. Совсем недавно мне случилось вот так проигрывать десять дней кряду, и я жарилась на медленном огне в казино Ла‑Манша, ежедневно ведомая туда надеждой отыграться и своей полной платежной несостоятельностью. И вот на двенадцатый день удача вернулась ко мне сразу на двух столах. Бросившись ей навстречу, я играла без передыху, ставя на разные номера, разные цвета и позиции. Мне потребовался всего час, чтобы отыграться (впрочем, мои цифры и выпадали только в течение часа). Когда я вышла из казино, провожаемая полуиспуганными, полувосхищенными взглядами крупье, проиграв не больше 300 франков, радости моей и гордости не было предела. Признаюсь здесь в том, что я редко бывала так преисполнена чувства гордости, разве что на триумфальных премьерах моих пьес случалось такое или за чтением отзывов критики, певшей дифирамбы моим книгам. В тот вечер возвращение по берегу моря от Довиля до Онфлера в старой машине с открытым верхом, несмотря на холодину, в сопровождении ликующих друзей было одним из самых восхитительных моментов моей жизни. Я провела неделю в чистилище, что едва не закончилось скверно, но я выкарабкалась; слева было серое море, справа — изумрудная трава, и вся земля принадлежала мне. Десять дней усилий, нервного напряжения — и я сумела свести проигрыш всего к тремстам франкам! Какое счастье! Знаю, такой вывод может кое‑кому показаться смехотворным, но, повторюсь, этот рассказ предназначался только для любителей азартной игры.

## Глава 3

## Теннесси Уильямс

Я написала роман «Здравствуй, грусть» в 1953‑м. И когда он вышел во Франции в 1954‑м, разразился скандал. Поначалу в причинах скандала я не разобралась, но теперь могу предположить две — и обе абсурдны. То была бурная реакция на то, что героиня романа — девушка лет семнадцати‑восемнадцати — занималась любовью с парнем, своим сверстником, не будучи в него даже влюблена, и при этом не навлекла на себя кару. В ту пору читателям пришлось не по нраву, что она не потеряла голову и не забеременела от этой связи, закончившейся одновременно с летними каникулами. Короче, в те годы казалось немыслимым, чтобы юная девушка могла безнаказанно распоряжаться своим телом и получать от этого удовольствие. Неприемлемо было и то, что эта молодая особа, посвященная в любовные похождения своего папаши, вела с ним откровенные разговоры и по своей инициативе стала его наперсницей в делах, которые в прежние времена оставались для детей за семью печатями. В остальном, право же, в моем романе не содержалось ничего предосудительного, по меньшей мере, на взгляд людей нашего времени. Сейчас, тридцать лет спустя, произошел некий сдвиг, смехотворный и в то же время жестокий, когда стало неприлично и смешно не заниматься любовью с наступлением половой зрелости, а то, что детей раз и навсегда отделяет от родителей неписаный обет умолчания, воспринимается как ханжество, которого хочешь не хочешь, но приходится придерживаться в силу заведенного порядка вещей. (Родители упрекают детей в том, что те несмышлены по молодости лет, а дети родителей — в том, что те уже немолоды, но все еще молодятся.)

Разумеется, нельзя считать благословенными времена, когда только родителям было дано право судить о поступках своих отпрысков, дети же, у которых отсутствовали какие бы то ни было права, находились в полнейшем неведении относительно интимной жизни «предков». Тем не менее между поколением сорокалетних и поколением двадцатилетних существовала преемственность, которую оба поколения с безжалостным упорством силились уничтожить, а потом винили друг друга в ее отсутствии. Вот почему мне думается, что в наше время «Здравствуй, грусть» показался бы голубой, дивной мечтой о том, какими могли быть взаимоотношения разных поколений в семье, сексуальные отношения среди молодежи и у людей старшего поколения. Во всяком случае, теперь этот роман не стал бы предметом для скандала. Но тогда скандал разразился, сперва во Франции, а потом и в Америке — столь же громкий.

###### \* \* \*

…Мне было тогда девятнадцать, и я послушно выполняла то, что велели старшие, а они велели мне отправиться в Штаты и наглядно продемонстрировать лик «прелестного маленького чудовища», как выразился обо мне старейшина французской прозы Франсуа Мориак, после чего образ этого «чудовища» трансформировался в своеобразный миф, вызывая восхищение или презрение, отвергаемый или, напротив, принимаемый с ходу. Итак, меня погрузили в «Констеллясьон» — один из самолетов‑гигантов тех лет, которые бороздили ночное небо и совершали трансатлантический перелет за двенадцать часов. Меня убедили в необходимости лететь в Америку и лично засвидетельствовать, что автор романа «Здравствуй, грусть» — вовсе не седовласая мымра и не хитроумный деятель из парижского издательства «Жюльяр», что я и сделала. Тогда я еще была послушной. И когда мне говорили «непременно нужно», еще верила в это «непременно», что, впрочем, соответствовало истине: реклама непременно нужна, ибо она способствует распродаже книг. Однако в жизни существуют непременности разной степени важности, что тогда было мне еще неведомо.

###### \* \* \*

Мой прилет в аэропорт Джона Кеннеди — в ту пору он еще назывался Айдлуайлд — напоминал зачин феллиниевской «Сладкой жизни». В то раннее утро французскую гостью там поджидали десятки фоторепортеров. Девочке едва исполнилось двадцать лет, но ее встречала масса народу — впрочем, толпа сопровождала меня на протяжении всего месяца, а дни мои были расписаны до минуты, и я усердно играла роль учтивой каторжанки. Мой английский соответствовал уровню экзаменационных отметок на степень бакалавра — 7–8 баллов, а потому неизменно оставался вежливым, но бесцветным. И лишь спустя две недели я заметила, что допускаю ляпсус, неизменно присовокупляя к автографу слова, как мне казалось, любезные: «with all my sympathies», что по‑английски означает: «примите мои соболезнования», а вовсе не «с чувством симпатии», как я обычно выражалась, обращаясь к своим читателям‑французам.

###### \* \* \*

По пятьдесят раз на дню я выслушивала одни и те же вопросы о любви, сексе, французской молодежи — на темы, подсказываемые жизнью и вскоре набившие оскомину. А помимо интервью, были еще коктейли, званые обеды и даже балы. И вот в один прекрасный день, когда я была уже сыта всем этим по горло, пришла телеграмма от Теннесси Уильямса — писателя, поэта, драматурга, того самого, о ком имела случай сто раз на дню повторять журналистам, что считаю его одним из величайших писателей Америки. Телеграмма приглашала меня к этому писателю в гости во Флориду, точнее, в город Ки‑Уэст.

Я наплевала на обед в американском посольстве, на выступления по телевидению на канале 83, на встречу с главным редактором журнала «Рыболовство», или уж не помню какого, тайком сбежала из отеля, ринулась в аэропорт и вылетела в Майами. Из Майами мы — моя сестра, мой друг и я — взяли напрокат автомобиль, пересекли Флориду, вспоминая фильм «Ки‑Ларго» и прочие детективы, возможно, навеянные здешними топями, болотами, переброшенными с острова на остров мостами, и наконец добрались в гарнизонный городишко Ки‑Уэст, в отель под тем же названием — не бог весть что, какой‑то весь серый, но нас там ждало три забронированных номера. Мы расселились, не очень‑то соображая, зачем нас сюда занесло, но уже страдая от жары тропического лета.

###### \* \* \*

— В полседьмого нам доложили о прибытии мистера Теннесси Уильямса. И вслед за этим в номер влетел блондин с голубыми глазами, смотревшими на нас с любопытством, — тот, кто по смерти Уолта Уитмена, на мой взгляд, был и остается крупнейшим американским поэтом; следом за ним шел смуглый молодой человек с приветливым лицом — быть может, самый очаровательный мужчина во всей Америке и Европе, вместе взятых, — по имени Франко, человек незнаменитый, таковым и оставшийся; завершая шествие, с растерянным видом плелась высокая тощая леди в пестрых шортах‑бермудах, с огромными выцветшими голубыми глазами. Она передвигалась, опираяcь на костыли. Это была Карсон Мак‑Каллерс, по моему мнению, лучшая, во всяком случае, самая тонкая писательница Америки тех лет. Два одиноких гения, которых держал за руки Франко, предоставляя им возможность вместе смеяться и вместе переносить жизнь изгоев общества, уготованную тогда в Америке каждому художнику, каждому маргиналу.

###### \* \* \*

Теннесси Уильямс предпочитал в своей постели мужчин женщинам. Муж Карсон незадолго до этого покончил с собой, оставив ее жить наполовину парализованной. Франко любил и мужчин, и женщин, но предпочитал Теннесси. Он любил также Карсон — больную, усталую, изможденную. Вся поэзия мира, все солнца галактик были бессильны пробудить ее голубые глаза, поднять набрякшие веки и вдохнуть жизнь в истощенное тело. Она сохранила только свой смех — смех навеки утраченного детства. Я смотрела на этих двух мужчин, которых презрительно и стыдливо обзывали тогда педерастами, а нынче называют «gay people»[[5]](#footnote-5) (как будто им было весело делать свой выбор и сносить презрение первого встречного‑поперечного!). Но я‑то видела, как заботливо парочка мужчин относилась к беспомощной женщине: они укладывали ее в постель, помогали вставать поутру, одевали, развлекали, согревали, любили — короче, давали ей все, что способны давать дружба, понимание, внимание тому, кто чересчур впечатлителен, слишком многое повидал на своем веку и многое извлек для себя, а потом так много обо всем этом написал, что стало невмоготу.

###### \* \* \*

Карсон предстояло умереть десять лет спустя, а Франко ушел из жизни вскоре вслед за ней. Что же касается Теннесси, которого в те годы ненавидели пуритане, возможно, как никого другого, но кому больше всех аплодировала публика и литературная критика за пьесы «Трамвай „Желание“», «Кошка на раскаленной крыше», «Ночь игуаны» и другие, так вот он умер при печальных обстоятельствах полгода назад в Гринвич‑Вилледже, где двери его дома бывали открыты всем ветрам. Лично я так никогда и не узнала, как и почему скончался этот человек, который любил смеяться и смеялся заливисто, а порой нежно. Может быть, это случилось из‑за смерти Карсон, потом Франко, потом других людей, мне незнакомых. Но этот человек был добр, в чем‑то сродни Сартру, Джакометти и еще нескольким мужчинам, известным мне лишь понаслышке. Его отягчала полнейшая неспособность причинять зло, наносить удары, проявлять жестокость. Теннесси был добрым и мужественным. Так велика ли беда, если он предпочитал быть добрым и мужественным с молодыми людьми по ночам, коль скоро оставался верен себе с любым человеческим существом в дневное время?

###### \* \* \*

…Мы провели пятнадцать суматошных дней под палящим солнцем Ки‑Уэста, обезлюдевшего в это время года. Это было двадцать пять лет тому назад. Даже больше. По утрам мы встречались на пляже. Карсон и Теннесси пили воду из больших стаканов, вернее, поначалу я думала, что это вода, пока не установила, сделав большой глоток, что то был неразбавленный джин. Мы плавали в море, брали напрокат лодочки и безуспешно старались поймать на крючок крупную рыбину. Мужчины глушили стакан за стаканом, женщины почти не отставали. Мы предавались мерзкому чревоугодию на пикниках. И после этих вылазок возвращались домой усталые, веселые или грустные. Однако, веселые или грустные, жили мы душа в душу.

###### \* \* \*

Как сейчас вижу Карсон в ее немыслимых — слишком длинных — бермудах, ее длинные руки, коротко стриженную, склоненную набок головку и линялые глаза — настолько бледно‑голубые, что этот цвет словно возвращал ее в детство.

Как сейчас вижу профиль Теннесси, склонившегося над газетой. Время от времени он смеется, чтобы, по его словам, не заплакать (я тогда мало интересовалась политикой). Вижу, как Франко бредет по песчаному пляжу, приносит стаканы, смеясь, перебегает от одного к другому — статный итальянец, не писаный красавец, но очаровательный, забавный, добрый, гораздый на придумки.

###### \* \* \*

Думаю, что, не считая приезда Карсон и моего, в домике на Дункан‑стрит гости появлялись редко. Там было две или три спальни, из которых одну Теннесси приспособил под рабочий кабинет, где часами стучал на машинке, словно и не замечая, какое пекло царило за окнами, в патио. А еще там был сад, его поливала толстуха негритянка — точь‑в‑точь такие фигурируют в голливудских фильмах. И были мы, трое восхищенных французов, конечно, немного стеснившие хозяев, но такие счастливые от своего пребывания тут, что время от времени, глядя на нас, Теннесси, Франко и Карсон заливались смехом.

###### \* \* \*

В ту встречу я мало разговаривала с ними. Мы не касались серьезных материй. Не делились подробностями личной жизни, не слишком расточали свои чувства. Но уже тогда я твердо знала, что настанет день, когда я буду скорбеть по этим счастливым минутам.

###### \* \* \*

Два или три года спустя я снова встретила Теннесси. Был день президентских выборов, а посему он оказался поневоле трезвым. Мы случайно встретились в баре отеля «У Пьера», он с невозмутимым видом заказал два стакана со льдом и бутылку лимонада, а затем извлек из заднего кармана брюк фляжку с крепким шотландским виски, из которой с присущим ему размахом плеснул и мне. Его последняя пьеса имела большой успех, но говорил он не об этом. Он грустил, грусть ему навевала история с Карсон — недавно она снова была вынуждена лечь в больницу «для нервных больных», как выражался Теннесси, с твердой уверенностью в правоте своих слов. Вернувшись из этой клиники, как говорили, в хорошей форме, она в данный момент находилась в доме, где прошло ее детство, подле умирающей от рака матери. Карсон обрадовалась, узнав, что я в Нью‑Йорке, и Теннесси пообещал, что завтра мы съездим ее повидать.

###### \* \* \*

Итак, мы поехали втроем — Франко, Теннесси и я — этим, словно позолоченным, искрящимся днем здешнего распрекрасного бабьего лета. В тряской машине Теннесси, малолитражке с открытым верхом, мы ехали не то по штату Коннектикут, не то Нью‑Джерси, точно не знаю, но, так или иначе, по красивейшим местам, и единственное, что отдалось пощечиной среди всей окружающей нас красотищи, был фасад какого‑то клуба, где крупные буквы предостерегали: «Евреям и собакам вход воспрещен». И это в каких‑нибудь двадцати километрах от Нью‑Йорка! Такое показалось мне просто дикостью, и мы примолкли, пока Франко не запел во все горло по‑итальянски, и так, распевая песни, мы подъехали к дому Карсон Мак‑Каллерс — писательницы, автора шедевров, которые Франция мало‑помалу тоже открывала для себя: романы «Сердце — одинокий охотник», «Отражения в золотом глазу» и другие. Нас ждал старинный дом с колоннами, три ступеньки крыльца и распахнутые настежь из‑за жары двери. На кушетке лежала очень старая седая женщина с лицом, изможденным от страданий и чего‑то еще, не знаю, но это делало ее отчужденной, почти что презрительной по отношению к нам. И еще тут была Карсон, одетая кое‑как, в коричневом домашнем халате, похудевшая еще сильнее, поседевшая еще больше, но прежними оставались глаза — ее невероятные глаза и детский смех.

###### \* \* \*

Начали откупоривать бутылки, и мама Карсон ломалась, заставляя упрашивать себя, прежде чем согласилась присоединиться к компании. Мы много выпили, и обратный путь в открытой машине при том, что воздух сильно похолодал, настроил нас на меланхолический лад, хотя мы возвращались не куда‑нибудь, а в галактику, в город‑мегаполис, где имена моих спутников были известны всем и каждому, но при этом люди ничегошеньки не ведали о подлинной сути этих личностей. К несчастью, случилось так, что не месяц, а неделю спустя Карсон пришлось вернуться туда, где пестовали «нервных больных». Отныне ни Теннесси, ни даже Франко были уже не способны выдавить из себя хотя бы кривую улыбку.

###### \* \* \*

Однако год спустя нашему веселью не было конца, когда я наткнулась на них в Риме на одной из тех вечеринок с коктейлями, где американцы любят спаивать итальянцев. Был там и Фолкнер, но он довольно скоро слинял, увиваясь за очень молоденькой красивой блондинкой: он вцепился в нее мертвой хваткой, но было видно, что по‑человечески она его нисколько не интересует. Мы также смылись оттуда на ужин с Анной Маньяни. Великая Маньяни ополчилась на всю мужскую братию. Накануне один из ее любовников обошелся с ней подло — подробностей не знаю, — и, распалившись, она никак не могла остыть. Она так и не остыла за весь вечер. Все остроты Франко, его заразительный смех с моим в придачу и шутки Теннесси так и не смогли утешить актрису. Ей было не до смеха.

Она не улыбнулась, даже когда на улице какая‑то проститутка, подруга Франко, окликнула нас, а точнее, Франко, нараспев, с притворной мольбой в голосе произнося: «E quando, Franco, quando, quando?..»[[6]](#footnote-6)«Скоро», — ответил ей в тон Франко и резко переключил сцепление, чтобы не напороться на мотоциклистов и автобус. Подняв руку в знак приветствия, он пропел: «Скоро, милая, я скоро вернусь». При этом он улыбался девушке, и та отвечала улыбкой, а Теннесси, сидевший позади водителя, ухмылялся себе в усы, словно нежный отец, взирающий на шалости сынка‑повесы. (Главным в их отношениях была нежность, огромная нежность.) «Скоро», — ответил ей в тон Франко и резко переключил сцепление, чтобы не напороться на мотоциклистов и автобус. Подняв руку в знак приветствия, он пропел: «Скоро, милая, я скоро вернусь». При этом он улыбался девушке, и та отвечала улыбкой, а Теннесси, сидевший позади водителя, ухмылялся себе в усы, словно нежный отец, взирающий на шалости сынка‑повесы. (Главным в их отношениях была нежность, огромная нежность.) «Скоро», — ответил ей в тон Франко и резко переключил сцепление, чтобы не напороться на мотоциклистов и автобус. Подняв руку в знак приветствия, он пропел: «Скоро, милая, я скоро вернусь». При этом он улыбался девушке, и та отвечала улыбкой, а Теннесси, сидевший позади водителя, ухмылялся себе в усы, словно нежный отец, взирающий на шалости сынка‑повесы. (Главным в их отношениях была нежность, огромная нежность.)

###### \* \* \*

…А потом, уже много времени спустя, однажды вечером и все в том же Нью‑Йорке, я встретила тень Теннесси; это было на вечеринке, собравшей интеллектуалов, — опять меня занесла туда нелегкая. Я увидела человека, который был своей собственной тенью — Теннесси, но истаявшего, поседевшего, отощавшего до прозрачности. У него уже не было ни голубых глаз, ни светлых усов, ни звонкого смеха, он обнял меня с каким‑то отчаянием, даже озлоблением. Сначала я ничего не поняла, пока кто‑то, смилостивившись надо мной, не предупредил: только, мол, ни слова о Франко, потому что «в том‑то все и дело, такая глупая история…». Повздорив с Франко, Теннесси уехал на полгода то ли в Индию, то ли еще куда, чтобы за время разлуки утвердиться в своих чувствах или проделать хитрый маневр, потому как оба они, возможно, слишком много хитрили. И когда Теннесси вернулся домой из экзотических стран, где его носило по воле случая и где плохо работала почта, то узнал, что Франко три месяца находился между жизнью и смертью, полагая, что Теннесси порвал с ним и уехал навсегда, молил того вернуться, ждал… И с той поры в Теннесси что‑то сломалось. Он перестал смеяться, и когда приветствовал меня в углу этого бара, то рука его была вялой, дружеской по привычке, она лишь смутно припоминала мою ладонь. Я уезжала с мыслью, что мне уже не суждено его увидеть, поскольку при нем неотступно находились два бородатых хама, оснащенных очками и дипломами, — они ходили за ним буквально по пятам, слушая все, что он говорит, кормили его чуть ли не с ложечки, а главное — пичкали таблетками. Они напоминали скорее гангстеров‑мафиози, нежели почтенных врачей — специалистов по недугу, именуемому отчаянием.

###### \* \* \*

А двенадцать лет назад, может, чуть больше или чуть меньше, Андре Барсак, в ту пору руководивший театром «Ателье», у которого к началу сезона, как говорят, образовалась «дыра», в последний момент попросил меня адаптировать для него пьесу — любую. Этому человеку неизменно сопутствовали крушения и успехи, падения и шумные взлеты. Я очень любила Андре и тотчас рассказала ему о Теннесси Уильямсе, единственном писателе, кто помог мне расшевелить мой все еще корявый английский — язык Альбиона, которым я серьезно не занималась со школьной скамьи. Мы с Андре изучили картотеки, навели справки, уточнили даты разных спектаклей и остановились на пьесе «Sweet Bird of Youth» — «Сладкоголосая птица юности», которую с успехом сыграли в Нью‑Йорке, а также экранизировали с участием Пола Ньюмена и Джеральдины Пэйдж; конечно, ее перевода на французский не существовало, а если и был, он не нравился Теннесси. И надо же такому случиться, что взяться за это дело выпало не кому иному, как именно мне. Я приступила к переводу в мае — июне и с помощью человека, бегло говорившего по‑английски, трудилась как никогда в жизни: без передышки, корпя над каждым словом, впадая в отчаяние, заливаясь краской стыда или удовольствия. Преодолевая этап за этапом, я все глубже вникала в поэзию Теннесси, в его замысловатый и красивый текст — очень замысловатый и очень красивый, где приливы нежности перемежаются с колючими вспышками. То срываются с цепи собаки — так звучит голос единственного мужчины, который ограничивается одной фразой. А то из женских уст льются потоки ласковых слов, за коими кроются жестокосердие и коварство; тут и убийства, и большой город, и воспоминания молодости и оживающего детства. И вторая женщина, весьма далекая от детства, играет на своих подмостках. И он — жиголо‑дешевка, то с шейкером, то с фирменным чемоданом, а то рекламирует кислородные маски, какие‑то банки‑склянки, кремы и прочую косметику. Когда же ему приспичит, он нет‑нет да и юркнет в постель, где ждет его она, словно обуреваемая желанием отнять у него молодость и присвоить себе — хотя бы на одну ночь. И они говорят друг другу самые что ни на есть несуразные, самые убийственные вещи, но, случается, и самые благородные из всех предназначаемых для ушей другого.

###### \* \* \*

И так все лето напролет (а в тот год оно выдалось жаркое) я трудилась не покладая рук, дивясь себе самой, по двадцать, тридцать раз возвращаясь к одной и той же фразе, чего, кстати, никогда не делала — и нередко зря — ни с одной из пьес собственного сочинения. Я сдала готовый перевод точно в срок, его репетировали с Эдвиж Фейер, которая обворожительно играла в великолепных декорациях Жака Дюпона. Разумеется, мы дали знать Теннесси сразу же, как только приступили к этой рискованной затее. Однако я была просто ошарашена, когда за три дня до премьеры от него пришла телеграмма: «Еду». Я помчалась к нему в отель, как оказалось, первоклассный, что меня немало удивило, поскольку я знала о его финансовых проблемах и о том, что Америка открестилась от писателя по странным и бессмысленным для меня, француженки, причинам. Теперь его считали автором, в свое время проявившим незаурядные способности в закручивании сюжета, которому к тому же везло на хороших актеров, умевших играть его сумбурные пьесы. Но все это в прошлом — на нем поставили крест. Короче, этот человек, неспособный откладывать на черный день, теперь чуть ли не нищенствовал. Вспомнив о той безгласной тени, промелькнувшей в нью‑йоркском небоскребе в мой последний приезд в Штаты, я разнервничалась при мысли о предстоящей встрече с моим другом Теннесси. Меня тронуло до слез, что он взял на себя труд проделать такой далекий путь, но при этом я была готова ко всему — решительно ко всему, чем могут обернуться некоторые ситуации для подранка, как‑то: провал пьесы, освистанной парижской публикой, плохая игра актеров, его недовольство негодным переводом. Я боялась, что это может добить его, стать роковым ударом для столь нежной и хрупкой натуры. Ничего подобного! Я вновь обрела точь‑в‑точь такого Теннесси, с каким познакомилась в Ки‑Уэсте пятнадцать лет тому назад. У этого Теннесси были прежние светлые усы, голубые глаза, громкий смех, а за ним неотступно следовала эдакая сверхшикарная нянька, оказавшаяся графиней из высшего британского общества, которая влюбилась в Теннесси, его талант и обаяние личности, подобно госпоже фон Мекк, полюбившей Чайковского (так я себе это представляла), но в отличие от нее эта женщина не отходила от своего кумира ни на шаг. Теннесси много смеялся над своим положением дорогой подруги («Очень дорогой, но не чересчур дорогой, заметь себе», — говорил он). И тот, кто всегда безмятежно сорил своими миллионами направо и налево, теперь, казалось, сам дивился новой ситуации и не понимал, почему чистосердечный смех за столом эти обстоятельства вызывали лишь у нас двоих.

###### \* \* \*

Во время первого действия мы с ним укрывались в ложе. Теннесси сидел рядом со мной, таращась на сцену, и поначалу слушал, но потом стал смеяться, громче и громче, репликам, которые, кстати сказать, и были задуманы как смешные. Зрители оглядывались, желая рассмотреть, кто это там заливается, и чем сильнее я откидывалась на своем кресле, тем громче он хохотал как безумный, пока, не выдержав, я не наклонилась, шепнув ему на ухо: «В конце‑то концов, что тут такого смешного!» — «Да ты что! Просто до тебя не доходит весь юмор. Каким же я, однако, был забавным в ту пору!» Он продолжал так самозабвенно смеяться, что на него даже шикали из публики. Однако, уразумев, что эту шумиху учиняют сам драматург и переводчик его пьесы, люди отказались что‑либо понимать, ибо по законам театра эти двое с трагичными лицами должны улепетывать по служебной лестнице — как пассажиры тонущего корабля бросаются к трапу. Начался антракт, билетерши расступились, и мы оказались у входа, столкнувшись лицом к лицу с толпой — собрался Весь Париж, конечно же, Весь Париж. Но Теннесси, скользнув рассеянным взглядом по этой толпе, устремился прочь, к улице Аббатис, пользующейся, как известно, дурной славой. Иначе говоря, эти кварталы Клиши — епархия молодых парней и мужчин разных наклонностей, а женщине нет смысла прогуливаться тут по ночам и тем более совать нос в здешние вертепы.

###### \* \* \*

Все же мы отправились в поход — я и еще трое бравых ребят: необходимо было во что бы то ни стало выловить Теннесси и представить его парижанам. Кончилось тем, что мы откопали его в недрах мрачнейшего из кабачков: он был по‑прежнему весел и ел какую‑то дрянь, пахнущую не то чесноком, не то другой плебейской приправой. Мне представился изысканный английский стол при свечах, подготовленный для ужина после премьеры в роскошных апартаментах графини. Но не будем пока об этом.

###### \* \* \*

…Зрители бурно аплодировали. Как ни упирался Теннесси, его все же вывели на сцену, где он и сам усиленно хлопал в ладоши, чем вызвал смех и аплодисменты, которые возобновились с удвоенным воодушевлением. Покинув театр в радужном настроении, мы расселись по машинам — кто в «Роллс‑Ройс» графини, а кто в собственный автомобиль — и цугом направились в пресловутые апартаменты пресловутого отеля — название не припомню, — где Теннесси по‑доброму чмокнул меня на глазах у всех присутствующих, присовокупив, что я «the dearest girl»,[[7]](#footnote-7) а мой перевод — превыше всех и всяческих похвал, и хотя во французском он не силен, все же многое ему понравилось, и он доволен, что я к этому причастна. Он говорил на одном дыхании и довольно путано — так обычно говорят авторы, когда речь идет об их творчестве. «Скажи, а у тебя не было чувства, что тебя исказили?» — задала я сакраментальный вопрос, мучивший меня с самого начала этой затеи. «Нет, darling,[[8]](#footnote-8) я чувствовал, что меня любят. А когда тебя любят, это, понимаешь ли, важнее всего на свете». И он чмокнул меня еще раз, прежде чем незаметно для английской графини устремиться за бокалом вина.

###### \* \* \*

Тогда я видела Теннесси в последний раз. Позднее я узнала про его передряги на Каннском фестивале, о его категорическом отказе оставаться президентом этого Дворца капиталистических чудес. Я смеялась, но оказалось, что мало, ибо несколько лет спустя на свою беду сменила Теннесси на этом посту и, очевидно, испытала аналогичные чувства (что даже анекдотично). Но будь Теннесси загорелым блондином с голубыми глазами и светлыми усами, который носил Карсон Мак‑Каллерс на руках в спальню, укладывал ее, как дитя малое, на двойную подушку и, усевшись у изножья кровати, держал за руку до тех пор, пока она, страшившаяся кошмаров, не уснет; или же седым и неряшливо одетым, опустошенным невосполнимой потерей Франко; или же тем Теннесси, который, сделав красивый жест, прилетел из далеких стран на наш спектакль, вполне возможно, показавшийся ему балаганным фарсом при церковном приходе (все же у него хватило предупредительности и мужества сказать мне приятные слова), — как бы то ни было, я не перестаю любить то, что оставалось у него неизменным: взгляд его глаз, его силу, его уязвимую натуру. «Я почувствовал, что ты меня любила, darling; я знаю, ты любила мою пьесу, darling». А я вот не знаю, как тебя настигла смерть, мой бедняжка‑поэт. Не знаю, какие подлости тебе учиняли в Нью‑Йорке — до, после или с тех пор, как ты побывал там, — дошел ли ты до того, что сам пожелал так странно умереть рано поутру в собственном доме с дверями нараспашку, спровоцировал ли ты свою смерть или просто надумал спокойно съездить на пару деньков во Флориду в этот дом, быть может заложенный, к твоему морю и пляжу, к твоей черной ночи, к твоим дружкам, к твоей бумаге — о, драма чистого листа! — к твоей комнате, где ты уединялся в полдень с бутылкой или без, а потом выходил — подтянутый, молодой, освобожденный, с победным видом, одним словом — как поэт! Я скорблю по тебе, поэт. И боюсь, что эта скорбь надолго.

## Глава 4

## Скорость

Когда мчишься на бешеной скорости в ночное время, придорожные платаны сплющиваются, буквы на бензоколонках, как бы зажигаемые фарами, удлиняются и деформируются, визг покрышек приглушается, и о них вдруг перестаешь думать, а еще такая езда снимает остроту любовных переживаний — как ни теряй голову, при скорости двести в час любовь отступает на задний план. Кровь, как бы перестав циркулировать в области сердца, устремляется в кончики пальцев рук и ног, к векам, которые становятся дремлющими стражами вашей жизни. Поразительно, как тело, нервы, все ваши чувства вопиют о желании продлить земное существование. Кто говорил себе, что его жизнь без «нее» или без «него» не имеет смысла, и при этом не жал на педаль акселератора — отзывчивого, но нестабильного; кто не чувствовал, как все его тело напрягается, правая рука уже касается рычага скорости, а левая крепче сжимает баранку, вытянутые ноги как бы расслаблены, а на самом деле готовы резко нажать на тормоза; кто никогда не стремился вот так выжить любой ценой, не попадая при этом под власть чарующей, манящей тишины неминуемой смерти, которая одновременно отвергает и бросает вызов, — тот никогда не любил скорость, жизнь и, быть может, никогда и никого не любил вообще.

###### \* \* \*

Начнем с внешнего облика этого железного коня, с виду такого спокойного, пока его вдруг не выводят из дремы поворотом волшебного ключа. Он откашливается, ему дают время окончательно пробудиться, восстановить дыхание, обрести голос и осознать, что грядет новый день. Его ласково понукают, и он отправляется на штурм городских улиц или проселочных дорог. Он понемножечку разогревается, ощущая себя вполне уютно в своей металлической шкуре, постепенно возбуждается, вместе с нами обозревая все вокруг: набережные ли, поля ли, но главное — дороги, то гладкие, то неровные, то скользкие, высматривая, где бы можно пойти на обгон. Обходит машины справа, слева, едва не задевая, а то вдруг застрянет, ибо какой‑нибудь нахальный старикан загородил дорогу, тычется в него мордой, а у нас — рефлекс: левая нога топит педаль, рукоятка поднята легким рывком, и наш конь, фыркая, обгоняет калеку, чтобы, вернувшись к своему аллюру, безмятежно посапывать и дальше. Плывет себе этот железный короб по артериям города, скользит по берегу реки и, выезжая на площадь, попадает в сложнейшую сеть венозных сосудов, но не желает их закупоривать; или же он катит по сельским просторам, вонзается в туманы, минует поля, с которых веет утренней свежестью, изгороди, отбрасывающие тени, и нет‑нет да напорется на бугор. Машина‑коняга весело подпрыгнет, отвечая фырканьем на такой незлобный выпад. Левая нога водителя опять топит педаль, а правая рука — приподнимается. Но как только дорога выравнивается, конь, успокоившись, возобновляет свое посапывание. Оркестровка налаживается сама собой: все шумы внезапно обретают гармонию, движение становится плавным, без толчков — можно и дальше не касаться тормоза.

Прежде всего тут требуется глаз — глаз всадника на железном коне, этом восхитительном животном, нервном, удобном, смертном — что тут поделаешь? — глаз внимательный, доверчиво‑недоверчивый, пристрастный, подвижный, все замечающий с лета, высматривающий себе подобного, однако не для того, чтобы сблизиться, а наоборот — чтобы держаться от него на расстоянии.

###### \* \* \*

С наступлением темноты после очередного поворота машина как бы попадает на минные поля. А точнее, на поля, «заминированные» неожиданными, слепящими глаза огнями встречных фар — радужными фарами дальнего света и желтыми ближнего, — которые сбивают водителей с толку, в особенности на широких съездах. Неровности дороги, подъемы и спуски приподнимают или опускают лучи разных фар, расставляя ловушки на водителей. Незнакомые между собой, они соучастники дорожного движения, и ты бьешь их в лицо, а они тебя — всей силой воздушной волны, стиснутой между встречными машинами. Эти безымянные водители — наши враги, они обрызгивают нас грязью, изматывают или оставляют в заасфальтированном тупике в мерцающем заоблачном свете луны.

Нередко тебя непреодолимо тянет то вправо, к придорожным деревьям, то влево, к праотцам, — все, что угодно, лишь бы уклониться от слепящего луча встречных фар.

###### \* \* \*

А еще на дороге несостоявшиеся жертвы собственных рефлексов, искатели приключений на скоростных трассах могут устроить себе передышку на бетонной стоянке с глотком лимонада за несколько мелких монет. В этих приютах для водителей можно насладиться сигаретой, тишиной и черным кофе — той самой чашечкой, которая всегда может оказаться последней. «До чего мне осточертели эти большегрузы в Оксерре», или: «В Оксерре заладил проливной дождь с градом и гололед — себя не увидишь». Все эти бесчисленные скромные герои автострад уже так давно свыклись с жизнью на грани смерти, что им и невдомек рассказывать про свои приключения. Крутят ли они баранку закостеневшими пальцами, щурятся ли или моргают от ослепительного света, но думают всегда об одном и том же, порою с замиранием сердца: «Пойдет ли он на обгон? Успею ли я проскочить?» Безвестные герои автострады, с которыми сталкиваешься ночью в шоферских кафетериях при автостанциях, люди осмотрительные, немногословные, дорожащие каждой минуткой, усталые и целеустремленные. В первую очередь они озабочены тем, что от Лиона до Валанса или от Парижа до Руана еще наяривать сто километров, или тем, что после Монта или Шалона автостоянки и бензоколонки встречаются реже. Поэтому они не упускают случая воспользоваться приютом, чтобы хоть на пять минут отключиться от большой игры и — благо покуда цел и невредим — посидеть в тенечке под навесом бензоколонки, глядя на дорогу, где чередой проносятся — эдакие камикадзе — те самые фургоны, которые еще час назад тащились у него в хвосте… Тут можно перевести дух, делая вид, что прочно обосновался в этом временном приюте: ведь хочешь — не хочешь, а его придется покинуть, даже если вдруг одолеет страх перед чудищами под черным брезентом впереди и позади, перед неотвязно слепящими фарами и лучом света, пронизывающим насквозь, способным свести с ума. И тут вы ополчаетесь на себя, вернее, на то, что еще от вас осталось, но страдает‑то машина, она начинает кряхтеть, мотор гудеть, увлекая вперед, теперь вы зависите от ее милости, а она — от вашей. Вернувшись на водительское место — пластиковую или кожаную подушку, пропахшую вашими сигаретами, касаясь живой, теплой рукой полированной баранки из дерева или бакелита, благодаря которой вы приехали сюда и, похоже, поедете дальше, вы поняли, что ваша машина — не только транспортное средство, но и некая мифическая сила, а возможно, орудие вашей судьбы, ваша погибель и ваше спасение. Колесница Ипполита, а вовсе не энный экземпляр, сошедший с заводского сборочного конвейера.

###### \* \* \*

Как бы их ни сравнивали, но скорость машины и темп музыкального произведения — разные вещи. Если в нотах, скажем, симфонии указано allegro, vivace или furioso, это совсем не соответствует двумстам километрам в час, а вот andante похоже на медленное продвижение по взморью, когда, несмотря на превышенную скорость, машина уже не артачится, а наоборот, как и ваше тело, словно бы отдается головокружительному сну наяву, вся во власти пьянящего полета. Так случается ночью на периферийной дороге, а иногда и днем, в безлюдной местности, и в такие моменты выражения типа «запрещено», «ношение обязательно», «социальное обеспечение», «больница», «смерть» становятся пустым звуком, их перечеркивает простое слово; мужчины произносили его испокон веков, шла ли речь о рыжем скакуне или о серебристых болидах, и слово это — «скорость». В один миг что‑то в тебе превозмогает нечто вне тебя, неистовые силы взыгрывают в механизме или в животном, вернувшемся в дикое состояние, и мысль, восприятие, сноровка — и чувственность тоже — их уже не контролируют, потому что быстрая езда становится наслаждением, порой со смертельным исходом. Мы живем в такое отвратное время, когда непредсказуемости, иррациональности противопоставляются — постоянно, на каждом шагу — точные цифры, ограничения или математические решения. Жалкое время, когда людям запрещается рисковать жизнью: цене души нет денежного эквивалента, зато отныне и навек точно подсчитано, сколько стоит скелет человека.

###### \* \* \*

Фактически машина — своя машина — дает ее укротителю и рабу парадоксальное ощущение наконец‑то заново обретенной свободы, возвращения в материнское лоно, в утробное одиночество, бесконечно далекое от постороннего взгляда. Ни пешеходы, ни регулировщики, ни другие автомобилисты, ни женщина, которая где‑то ждет, ни вся оставшаяся жизнь, которая не ждет, не в состоянии вырвать его из этой машины: в конечном счете она — это единственное, что у него есть, что позволяет ему на часок в день снова оказаться тем одиночкой, каким человек является в этот мир. И если вдобавок встречные потоки обтекают его машину подобно волнам Красного моря, расступившимся перед евреями, и к тому же красные светофоры встречаются все реже, пока не исчезают вовсе; и если дорога начинает качаться и бормотать, реагируя на нажатие педали; если ветер, став ураганным, чуть не вырывает дверцу; если за каждым поворотом дороги таится непредвиденная угроза, а каждый километр пути — пусть скромная, но победа, то не удивляйтесь, что дисциплинированные служаки, которым уготована блестящая карьера, или другие благонамеренные граждане способны выкинуть коленце и устроить месиво из железа, гравия и крови в последнем рывке вперед, последнем отказе от будущего. Такие коленца обычно приписывают воле случая, помутнению рассудка, лихачеству — да чем только не объясняют дорожное происшествие, кроме главного объяснения, а оно как раз не имеет ничего общего со всеми другими: рывок вперед на бешеной скорости — это внезапная, непредугаданная и непреодолимая встреча тела с духом, встреча жизни с молниеносной, но пронзительной мыслью о ее смысле: как я живу? Кто я? Я живу со скоростью 80 км в час в городе, 110 — на национальных магистралях, 130 — на автострадах, 600 — в своем сознании и 3 — в своей шкуре согласно всем правилам дорожного движения и законам общества, соответствуя мигу переживаемого отчаяния. Какие же неотлаженные спидометры сопутствуют мне с самого детства? Какая скорость предписана мне в жизни — моей единственной жизни?

###### \* \* \*

Но мы отошли от разговора о наслаждении, то бишь скорости, понимаемой как наслаждение, что, собственно, и является ее ярким определением. Согласимся с Мораном, Прустом, Дюма: речь идет не о смутном чувстве, которое кратко не описать и в котором стыдно признаться. Ехать на бешеной скорости — значит испытывать настоящее наслаждение и даже ликование, забывая о мерах безопасности на дороге, о критериях устойчивости машины и, возможно, о пределах собственных рефлексов. Скажем также, что речь идет не о глупом вызове своему водительскому таланту или стремлению обогнать любой ценой. В том‑то и дело, что нет. Скорее это веселое пари между шансом в его чистом виде и самим собой. При езде на бешеной скорости наступает момент, когда машина становится железной пирогой, и ты уже плывешь, взбираешься на гребень девятого вала, надеясь благополучно спуститься с него не столько благодаря умению, сколько повинуясь ритму самих волн. Неистовая любовь к скорости не имеет ничего общего со спортивным азартом. При том, что развитие скорости близко игре (воле случая), это еще дает ощущение радости бытия, неизменно проникнутое смутным предчувствием смерти. Вот, собственно, и все, во что я свято верю: скорость — не признак жизни, не вызов ей, а порыв к счастью.

## Глава 5

## Орсон Уэллс

В то время я два месяца как бы укрывалась в Гассене — очаровательной деревушке, которая с высоты двухсотметрового пригорка вот уже тридцать лет с неодобрением взирает на бесчинства своей легкомысленной сестры по имени Сен‑Тропез. Два месяца поливал дождь, в промежутках между треском дров в камине и набегами на ближайшее бистро у меня создавалось впечатление, что я нахожусь не на юге, а где‑то в Солони. Было это то ли в пятьдесят девятом, то ли в шестидесятом, то ли в шестьдесят первом, сейчас не припомню… Стоило миновать юности, как годы — счастливые и несчастливые — стали нагромождаться друг на друга, и я уже не способна датировать их точно. Как раз тогда я впервые в жизни бросила супружеский очаг, но все еще питала достаточно нежности к мужскому полу, чтобы обещать одному из моих друзей, занятому на Каннском фестивале, навестить его.

Канн с его фестивалем был для меня точно таким же, каким он в ту пору рисовался воображению многих: ледяное шампанское и теплое море, восторженная толпа и полубоги‑американцы; признаюсь, все, вместе взятое, меня не слишком манило. Мои дурные предчувствия оправдались сразу же по приезде, когда мы поднимались по лестнице старого Дворца фестивалей вместе с упомянутым другом, глядя, как проходят члены жюри и звезды; меня тут же затянуло в водоворот обезумевшей толпы, образовавшейся с появлением Аниты Экберг, Джины Лоллобриджиды или уж не знаю кого, кто преобразил смиренных зевак в ожесточенную, свирепую орду. Вообще‑то я людей не страшусь, но должна признаться, что тут, в кольце всех этих лиц, профилей, плеч, этих черных дыр, перемежающихся с ослепительным солнцем, меня обуял панический страх. Я отбивалась и была готова, как говорится, пасть под напором толпы, когда чья‑то сильная рука вырвала меня из этого ада, протащила через лестницы, коридоры и потайные двери в какой‑то кабинет, где опустила на диванчик. И тут, не успев еще рассмотреть этого Кинг‑Конга (благодетель был также Кинг‑Конгом‑обольстителем), я узнала его по смеху — то был сам Орсон Уэллс.

###### \* \* \*

В этом кабинете, кроме нескольких человек, работавших на фестивале, и моего встрепанного друга, находились, если память мне не изменяет, Дэррил Занук, Жюльетт Греко и еще один импресарио, который, едва первые эмоции улеглись, а дружески предложенное виски было выпито, пригласил нас поужинать всей компанией в ресторане «Бон Оберж». Лично меня он мог бы с таким же успехом пригласить поужинать в Вальпараисо или Лилле — с того момента, как появился Уэллс, мне ничего другого не хотелось, как покорно следовать за ним. Одно его присутствие сразу вернуло мне почти утраченные было иллюзии по части мужчин. Он был огромный, просто колоссальный, смеялся громоподобным смехом и, блуждая заинтересованным и в то же время рассеянным взглядом своих желтых глаз, рассматривал знаменитую набережную, разряженную толпу и роскошные яхты.

###### \* \* \*

…В последующие годы я столько раз рассказывала этот красивый эпизод, в конце концов я и сама уже засомневалась в его достоверности. Память каждого человека избирательна, она сортирует события, сохраняя счастливые и вычеркивая горькие мгновения (или же наоборот), порой подключая воображение. Много лет спустя я снова увидела Уэллса в Париже, в Люксембургском саду, куда он пришел за мной, чтобы повести обедать… Опасаясь, что меня якобы переедут, он перенес меня через все улицы, держа под мышкой, словно тюк с бельем (при этом мои голова и ноги болтались, как у куклы, а сама я вопила и чертыхалась). Только тогда я смогла наконец поверить в доподлинность тех первых своих воспоминаний… Но это уже другая история.

Так вот, в Канне, в тот плохо поддающийся датировке год — тогда Уэллс представлял на фестивале свой фильм «Печать зла», — в тот вечер мы все действительно пошли ужинать в «Бон Оберж». У Дэррила Занука в то время была большая любовь, Греко отличалась большим чувством юмора, а сам Уэллс страдал от большого количества долгов. Съемки его последнего фильма были прерваны в самом разгаре за отсутствием денег, и теплилась слабая надежда, что этот ужин убедит Занука — уже тогда одного из богатейших продюсеров Голливуда — уладить дело. Где‑то с полчаса ужин проходил довольно безмятежно: перед нашими глазами шел балет из закусок, которыми славился этот ресторан, а мы комментировали на смеси французского с английским события дня. Все смеялись, шутили. И тут разговор закономерно свернул к теме кино вообще, потом к производству, потом к роли продюсера в кино и вдруг целиком перешел на английский, причем все более и более стремительный. Признаюсь, я особо не вслушивалась, пока чуть не ткнулась носом в тарелку от сильного хлопка по спине. Это была ладонь соседа слева — Орсона. «You and I, — сказал он, — мы с вами — художники, и у нас нет ничего общего с этой бандой денежных воротил или никчемных мошенников. Их надо избегать, как чумы, они посредники, они…» Последовали оскорбления, точного смысла которых я не уловила, но они прозвучали достаточно веско, поскольку Занук, вынув изо рта сигару и побелев, встал. Уэллс ушел одновременно с нами, не доев десерт, а его фильм так и остался незаконченным. Мне было горько за фильм и в то же время радостно за Орсона. Я восхищалась им, жизнью, искусством, «художниками», как говорил он, нелицеприятной правдой, величием — всем, что продолжает меня восхищать и по сей день.

Я увидела его опять лишь десять лет спустя, а в промежутке было несколько телефонных звонков: в Гассен, Лондон, Париж, когда мы с ним строили планы, но — увы! — всегда туманные.

###### \* \* \*

…Итак, в тот день, протащив меня, словно куль тряпья, через все парижские авеню и Елисейские Поля, Уэллс усадил меня за стол с двумя его друзьями. Он ел как волк, смеялся, как сказочный великан, и все мы закончили день в его номере в «Георге V», где он обосновался после того, как порастряс свой кошелек в других роскошных отелях Парижа. Шагая взад‑вперед, он говорил о Шекспире, кормежке в отеле, глупости газет, чьей‑то меланхолии — не смогу теперь повторить хотя бы одну из его фраз. Я смотрела на него как завороженная. Думаю, что ни один человек на свете не производит такого впечатления гениальности, как Уэллс, настолько в нем ощущается острота мышления, что‑то масштабное, живое, роковое, бескомпромиссное, пылкое. На мгновение меня охватил ужас, когда он вдруг предложил через час отправиться не куда‑нибудь, а в Вальпараисо. Я пошла было к дверям, чтобы захватить паспорт (и покинуть при этом второй супружеский очаг, ребенка, собаку, кошку — без злого умысла, просто потому, что Уэллс неотразим и малейшее из его пожеланий, конечно же, следовало немедленно выполнять). Слава богу или черт побери, но телефонный звонок напомнил, что ему надлежит ехать в Лондон, так что Вальпараисо отпал — и навсегда.

###### \* \* \*

На следующей неделе, все еще в шоковом состоянии, я устроила себе ретроспективу фильмов Орсона Уэллса благодаря журналу «Экспресс», в котором в то время вела рубрику кино. За несколько дней я посмотрела четыре его фильма, новых для меня, а также пересмотрела остальные. И, признаюсь, не поняла. Я не поняла, почему американцы не валяются у него в ногах с контрактами, почему французские продюсеры, которые вроде бы в ту пору жаждали риска, не бегут за ним в Англию. Ведь можно же приставить к нему двух телохранителей на случай, если он вздумает (говорят, с ним такое случается) сбежать со съемочной площадки в Мексику или куда‑нибудь еще.

###### \* \* \*

Чего только я не насмотрелась за эту неделю! Под мостом, рядом с отбросами, плавает раздутый труп подстреленного полицией садиста. На него смотрит Марлен Дитрих. Частный детектив задает ей вопрос: «Вам его жаль?» Она отвечает: «He was kind of a man» («В нем что‑то было»).

Жена генерала Родригеса смотрит на фотографию мужчины, которого любила, который ее обокрал и готов убить. «Что вы о нем думаете?» — спрашивают ее. «В нем что‑то было». Калека по роли Джозеф Коттен отзывается о своем лучшем друге — человеке, который его предал и прогнал: «В нем что‑то было».

Когда я пересматривала эти фильмы Уэллса один за другим, мне повсюду виделся темперамент одержимого. Уэллс любит героя одного плана — несомненно, своего собственного: вспыльчивого, нежного, умного, безнравственного, богатого. Его герой одержим и выхолощен по собственной вине, он — сильная натура, подчиняющая себе, терроризирующая других, он всегда остается непонятым, но никогда не сетует. Его это, по‑видимому, просто не волнует. Молодой и хищный Кейн, гордый Аркадин, мрачный Отелло — все они чудовищны, все одиноки: такова расплата за избыток ума. И лишь в одном фильме он сыграл роль жертвы — в «Леди из Шанхая». Роль чудовища он уступил тут Рите Хейворт: надо сказать, что Орсон любил ее.

###### \* \* \*

Однако такое гордое одиночество порой обременительно. Чтобы выжить, Уэллсу приходилось сниматься в идиотских ролях; его лишили оружия — кинокамеры; своре людишек в очках, с самописками — бухгалтерам и продюсерам — удалось‑таки опрокинуть этого Гулливера, который их и не замечал. Они подавили его количеством. И вот он снял «Печать зла». Меня потряс один особенно красивый эпизод среди тридцати других: когда он снова встречает такое же прекрасное чудовище, как и он сам, — Марлен Дитрих. Она говорит ему, что он растолстел, обрюзг, что он жалкое подобие того, каким был; она говорит ему, что будущее у него позади. Впервые в его фильме прозвучало нечто похожее на жалость. Марлен выпускает дым через нос, как в «Голубом ангеле», а у Орсона взгляд раненого быка перед тем, как его прикончат. Куда девался гражданин Кейн — молодой, неистовый, черный бык, нагонявший ужас на арены Америки? Что с ним сделали? Что он с собой сделал? Я была недостаточно информирована, чтобы ответить на эти вопросы. Я знала лишь одно — все его фильмы заражены талантом, и мы вправе спросить себя, кто же в конечном счете оказался «выхолощенным».

###### \* \* \*

Затем он все же создал «Процесс», после чего появилось немало статей, где говорилось о технике Уэллса, отсутствии чувства меры, буйстве страстей и т. д. Но любой человек, посмотрев любой из его фильмов, сможет вновь восхититься поэзией, воображением, изяществом — всем, что характеризует настоящее кино. Лично меня интересует, чем он бывал одержим. Деньги? Но Уэллс мог бы стать сказочно богатым. Он и вправду хотел бы разбогатеть. Вспомним сцену из «Тайного досье». Молодой человек бежит по улице — он непременно должен найти печеночный паштет под Рождество и удовлетворить глупый каприз старика, которого хочет спасти. Он чуть не попадает под «Роллс» Аркадина, который готов его убить, однако тот любезно привозит его в большой ресторан, где пятнадцать официантов спешат подать мистеру Аркадину печеночный паштет. Вспомним балы у Андерсонов, пикник Кейна, «Роллс‑Ройсы», замки, самолеты, яхты, праздники, сотни лакеев, секретарш, роскошных женщин. Жаль! Как жаль, что Уэллс не купил акций «Шелл» или стоячек‑закусочных на деньги от своих первых успехов. Как жаль, что он бродяжничал по свету и швырял деньги на ветер. Как жаль, что он не вкладывал деньги ни во что, кроме собственных причуд… Говорю это без иронии. Тогда он имел бы не только «Роллсы» — он имел бы также киностудию, а мы каждые три года смотрели бы по шедевру. Как жаль себя и наверняка его, но зато какая великолепная судьба у этого гения, жившего сегодняшним днем; заехавшего в Париж, чтобы принять орден из рук Миттерана, и вернувшегося на свою ферму в Америке подлечить артрит; снимавшего рекламные фильмы за смехотворное вознаграждение. Как велик во всем этот человек, осужденный на жизнь среди полукарликов, лишенных воображения и души, со снисходительным презрением выколачивавший из них ровно столько, сколько необходимо, чтобы напитать свой могучий остов. Невозможно сделать фильм об Орсоне — надеюсь, что невозможно, ибо на свете скорее всего нет второго человека с его ростом и лицом, а главное — с неугасающим блеском в глазах, который выдает гения.

## Глава 6

## Театр

Театральную карьеру я начала, движимая самым естественным и скромным желанием — развлечь окружающих. В ту зиму я сняла прелестный дом в шестидесяти километрах от Парижа, чтобы провести там один из моих антилегкомысленных периодов. К черту парижскую жизнь, к черту клубы, виски, приключения, кутежи. Да здравствуют чтение, огонь в камине, серьезная музыка и философские споры. Подобные кризисы регулярно потрясали и потрясают мою жизнь или, вернее, замедляют ее течение. Этот наступил, когда я редактировала свой третий роман — «Через месяц, через год» — и довольно эгоистично закопалась вместе с персонажами на его последних страницах, ничего не видя вокруг себя — ни как слетали последние осенние листья, ни как выпал первый снег. Я не замечала, как укорачиваются дни и вытягиваются физиономии моих друзей. Когда я пришла, если можно так сказать, в сознание, написав слово «конец», все окружающие уже переживали нервную депрессию, любовные горести, тайные недомогания и другие напасти, свойственные всем возрастам, но особенно одолевающие горожан, переселившихся в деревню. Поскольку перо еще подталкивало мою руку к бумаге, а мозг хотел творить, я написала первую сцену первого действия пьесы — диалог между братом и сестрой, которые застряли из‑за снежных заносов в замке, в Швеции. Наверное, я подспудно надеялась, что похожая ситуация вернет моим друзьям оптимизм, но такое начало их только рассмешило. (И не подумайте, что они смеялись из любезности. Друзья меня всегда окружали превосходные, но безжалостные по отношению ко всему, что выходило из‑под моего пера; у меня всегда было больше шансов на скептические замечания, чем на возгласы одобрения, и, случалось, я искренне мечтала иметь при своем «дворе» восторженных и угодливых блюдолизов, которых мне приписывали.)

###### \* \* \*

Впрочем, сказав, что это было моим дебютом в театре, я согрешила против истины. Помнится, лет двенадцати я донимала маму, читая ей на сон грядущий свои исторические драмы.

Вот один из образчиков:

«*Король* . Бросить его в темницу!

*Королева* . Сжальтесь, государь! Вы не имеете права…

*Узник* . Оставьте, сударыня. Я сумею умереть так, как жил: стоя.

*Король (насмешливо)* . Ха‑ха! Да, стоя на коленях на соломе!

*Королева* . Государь, вы ведь не жестоки, я знаю… Как вы можете…»

И т. п.

Несмотря на безупречное воспитание, моя мама бывала на грани обморока уже после получаса такой патетики, и я видела, как ее внимательные глаза туманились, сужались и исчезали за спасительными веками. Вздохнув, я вставала со смешанным чувством умиления и сочувствия: конечно, текст мой был слишком драматичным, слишком сильно написанным, и, наверное, я была не вправе обрушивать это на голову моей чувствительной мамы между двумя светскими обедами.

Впрочем, я полагала, что она не засыпала, а притворялась, ища в сне прибежище от словесного шквала, потому что и не подозревала, что ее дочь на что‑либо способна. Пройдет немного времени, и она будет плакать в третьем ряду партера вместе со «Всем Парижем», застывшим от ужаса и восхищения. Я тоже засыпала, склонив свою вечно растрепанную голову на мягкую семейную подушку, и видела во сне второе действие.

###### \* \* \*

И вот той зимой я наконец, как говорится, начала «литературную карьеру», опубликовав два романа, закончив третий, и, в конце концов, кто бы мог запретить мне мечтать о театре? Никто, разумеется. И кого винить, если вскоре я так покувыркалась в поле в своей открытой машине, что меня чуть было не списали со счетов, и я полгода появлялась в театре и в городе замурованная в гипс.

###### \* \* \*

Продолжение этой истории обязано чистой случайности. Год спустя Жак Бреннер, издававший театральный журнал «Кайе дю сезон», попросил у меня что‑нибудь ранее не публиковавшееся, и я, поленившись, послала ему то, что мне подвернулось под руку, — начало пьесы. Журнал случайно прочел в поезде Андре Барсак, возглавлявший тогда театр «Ателье». Начало ему понравилось — настолько, что он позвонил мне в Париж. Для меня это был текст двухлетней давности, он же говорил о нем с горячностью, как об открытии, чем вначале меня несколько ошарашил. Приехав меня повидать, он сообщил, что эти тридцать страниц его устраивают, но ему не хватает еще ста: ему требуется середина, конец, интрига, развязка и т. д. — все то, чего я в свое время не предусмотрела, помышляя об одном: развеселить приунывших друзей. Тогда я уехала в Швейцарию, в мрачное место (там есть и такие), и, поменяв два шале и три Gasthaus, в промежутке между снегопадами и оттепелями, подкрепляясь вином и белым шоколадом, вдруг обнаружила — то была единственная соломинка для утопающей, — что идея этой пьесы теперь уже стала символичной и для меня: как и ее герои, я застряла в глубоком снегу вместе со здоровыми, веселыми, раскрасневшимися спортсменами в потрясных лыжных костюмах. Я застряла вдали от всякой цивилизации, понемножку деградировала и потихоньку оживала. Так я и написала «Замок в Швеции» за три недели, то и дело перезваниваясь с Барсаком — то в панике, то в приступе веселья. Я открыла для себя не трудности, а легкость театра. Рельсы драматургии сами вывозят: единство времени, единство места, невозможность отклониться от действия из опасения наскучить публике, необходимость стремительно двигаться к развязке, не углубляясь в сантименты, быть восприимчивой и убедительной — все это, оказывается, прекрасно отвечало моему писательскому темпераменту. Говорят, писать рассказы и пьесы всегда считалось труднее, чем сочинять романы: первые требуют более тонкого искусства, вторые — более точного мастерства. Но лично мне всегда казалось, что я пишу рассказы, когда мне не хватает дыхания, а пьесы — потому что мне удается с легкостью строить диалог. Рассказы и пьесы начинаются с характеров, которые очерчены уже в самом начале, и эти характеры определяют действие — по воле драматурга оно разворачивается стремительно и ведет к неизбежной развязке, предусмотренной уже с первых реплик. Роман же переходит от одной неопределенности к другой, от одного предположения к следующему, от перемены в характере к новой перемене. Короче, роман — это полная свобода, рискованная, роковая, но такая соблазнительная, сплошные отклонения, блуждания, которые в коротком рассказе или пьесе следует автоматически отбрасывать. Скажем так: рассказы и пьесы — это аксиомы, роман же — длинная и сложная теорема.

###### \* \* \*

Словом, я написала «Замок в Швеции», Барсак поставил эту пьесу, и ее ждал успех. Я ходила на репетиции несколько раз, а под конец ежедневно. Я как зачарованная слушала написанные мной слова, монологи и реплики, произносимые вслух. Я видела, как в Клоде Рише рождается Себастьян, в Филиппе Нуаре — Уго, во Франсуазе Брион — Элеонора и т. д. Я с восхищением смотрела на этих актеров — они меня знать не знали, ничем не были мне обязаны, однако покорно подчинялись прихотям моего воображения, и за одно это я испытываю к ним безмерную благодарность. Должна признаться, что удивление и благодарность я испытываю всегда, наблюдая актеров, произносящих мой текст — более или менее забавный, более или менее глубокий — перед зрителями, которые потрудились прийти в театр и отдали за билет свое маленькое состояние, желая услышать этот текст со сцены. Думаю, что ни один автор никогда не привыкнет к этому. Для меня же, придумавшей, если память мне не изменяет, свои диалоги по причине послеобеденного дождя, лишнего глотка виски или внезапного и подозрительного приступа вдохновения, убежденность, с какой актеры (именитые или безвестные, но всегда искренние люди) озвучивают громким голосом мои тихо «произнесенные» на бумаге слова, свидетельствует об их самоотверженности и неосмотрительности.

###### \* \* \*

Итак, в тот год я открыла для себя прелести театрального успеха — в какой‑то момент аплодисменты, в какой‑то — тишину, очаровательную публику — лучшую на свете, коль скоро моя пьеса ей нравилась. И я с наслаждением слушала, как вокруг меня говорили: «Она еще и пьесы умеет писать!»

###### \* \* \*

Тем временем я повстречалась с Театром — театром красным, черным и золотым, с занавесями, цветами, шампанским, выкриками «браво», сюрпризами, величием характера. Все это соединилось для меня в одном человеке — актрисе Мари Белль; все это она воплощает в себе и по сей день. В одно прекрасное утро Мари Белль обратилась ко мне в парикмахерской из‑под шлема‑сушилки — эдакая воительница‑вестготка — и повелела мне громовым голосом (ибо она в шлеме не слышала себя) написать пьесу для ее театра «Жимназ». Я тут же согласилась, с ходу усвоив привычку никогда не перечить Мари. Те, кто с нею хорошо знаком, этому не удивятся. Для тех же, кто знает ее меньше, напомним, что она красивая брюнетка, крайне вспыльчивая, с проницательным взглядом и грубоватым юмором. Напомним также, что она произносит стихи Расина с такой же естественностью, как пьют воду, и что она играла проституток не менее достоверно, чем императриц. И вот я написала для нее пьесу под названием «Иногда скрипки», которую мы репетировали три месяца в ее роскошном театре с Пьером Ванеком и режиссером‑англичанином — не припомню его имени, но перед Мари Белль он трепетал. Публика на той премьере показалась мне менее внимательной, чем зрители «Замка в Швеции». По совету Мари я сделала себе сложный макияж у знаменитой в те годы косметички, и пока сидела в глубине ложи, краска щипала мне глаза, и я на нервной почве все время подкрашивала ресницы тушью, а щеки — румянами, после чего в антракте несколько относительно близких знакомых спросили у меня, как пройти в гардероб, и даже совали в руку мелочь вместе с номерком. Я поспешила спрятаться под крылышком у Мари, которая хотя и почувствовала, что дела плохи, но постукивала ножкой и делала хорошую мину при плохой игре, прежде чем ринуться во второе действие, которое только подтвердило наши опасения: провал оказался полным. Нам еще повезло — театр «Жимназ» чередовал наши «Скрипки» с пьесой Барийе и Греди «Прощай, благоразумие», благодаря чему нам удалось продержаться на афише несколько месяцев, хотя играли мы, кажется, всего раз семнадцать. Этот мучительный вечер завершился изъявлениями дружбы, словами притворного сочувствия и даже восторгами — было и такое, а наутро мы с Мари Белль отправились за свежими газетами, чтобы узнать, на каком же мы все‑таки свете. Мы остановились под фонарем перед Триумфальной аркой, и Мари, забывшая очки, требовала, чтобы я читала ей вслух одну за другой все критические заметки, напечатанные в «Фигаро», «Орор» и т. д. Ничего утешительного. Я машинально старалась опускать неприятные замечания в ее адрес и больше напирала на те, которые отпускались в мой. Тщетные усилия: она заставляла меня читать и перечитывать все подряд. Полная катастрофа. Но чем дальше я читала, тем громче она заливалась смехом, который внезапно одолел ее, пока я сообщала: «Отвратительный текст… невозможные актеры… никакой режиссуры… совершенно неинтересно…» и т. д. Ее неудержимый смех, разумеется, заразил и меня, но мне‑то было еще что, а вот Мари… Ведь то был ее театр, ее деньги, ее роль, и, наверное, для нее этот провал имел последствия куда серьезнее, чем для меня. Вот почему тот чудесный, неудержимый и раскатистый смех, от которого содрогалась Федра, сидящая рядом со мной в красивом «Мерседесе», как мне показалось — и я не ошиблась, — окончательно скрепил нашу дружбу. Заиметь друзей в театральной труппе после провала — случай редкий. Мне повезло, и везение меня не покидает — после первого театрального провала я обрела в лице Мари Белль одну из лучших подруг.

###### \* \* \*

Моя третья попытка увенчалась успехом. В пьесе «Лиловое платье Валентины» я встретилась с Даниель Дарье. Сама того не подозревая, я написала главную роль, как нарочно, для нее. На первой же репетиции я увидела Валентину, хотя ни Жак Робер, превосходный режиссер, ни я сама ничего актрисе не подсказывали и не внушали. По правде говоря, я ликовала заранее и, не опасаясь за судьбу этой пьесы, предвкушала два месяца безоблачного счастья. Как с азартной игрой, понять это может только влюбленный в театр. Прелесть репетиций, запах свежеструганой древесины, который исходит от декораций, суматоха последних дней перед премьерой, возбуждение, исступление, чаяния и отчаяние — все это многократно описано, и мне тут совершенно нечего добавить. Скажу лишь, что дело было осенью, хорошая погода в Париже сменялась дождем, но я этого не замечала, ибо моя жизнь свелась к шести часам в день в темноте зала. Я приходила на репетиции, отыскивала на ощупь откидное кресло — кроме меня еще две или три тени были рассеяны по залу; но главное, тут была моя Валентина — Дарье, которая прохаживалась по сцене, царственная и отрешенная, постепенно приближаясь к развязке. В перерывах мы заходили выпить в ее гримуборную, а в те дни, когда все шло хорошо, ехали спрыснуть это дело в Париж, ставший совершенно чужим и неинтересным, поскольку остался за рамками жизни театра «Амбассадер». После напряженных репетиций встречавшиеся нам незнакомцы тут же становились нашими друзьями, хотя мы знали, что довольно скоро навсегда их позабудем. В наш инфернальный круг допускались только те люди, которые имели отношение к нашей пьесе, нашему спектаклю, нашему чаду. Мы были фанатиками, обреченными на мученичество или триумф, адептами религии, совершенно неизвестной кому бы то ни было, кроме нас, знавших наизусть все ее псалмы, и это делало нас самым замкнутым обществом, какое только можно себе вообразить. Даже наши мужья — муж Даниель Дарье и мой — были захвачены этой всепоглощающей страстью и, думаю, знали пьесу не хуже нас. Случалось, Даниель Дарье и вне театра разговаривала как Валентина, думала как Валентина, чем вызывала всеобщее восхищение. В день премьеры я знала — ибо иначе и быть не могло — зрители ее полюбят; на самом деле так и произошло.

###### \* \* \*

…«Замок в Швеции», «Иногда скрипки», «Лиловое платье Валентины» — если проследить мой путь, то можно сказать, что, покинув великолепный шведский замок, я прокралась в зажиточную провинциальную квартиру, а затем смело завалилась в захудалый отель Четырнадцатого округа. Решив снова подняться по социальной лестнице, я эмигрировала в Санкт‑Петербург, в роскошный особняк разорившегося графа. Я написала пьесу «Счастье, чет и нечет», взяв с собой в это путешествие веселых спутников — Жюльетт Греко, Жана Луи Трентиньяна, Даниеля Желена и очень дорогого друга, талантливейшего, очаровательнейшего Мишеля де Ре, которого теперь с нами нет. Алиса Косеа играла мать и свекровь этого маленького семейства — кажется, то была ее последняя роль в театре. А я сама в порыве безумия стала режиссером.

В результате сумбурного и бесконечного спора я сумела‑таки доказать какому‑то презренному собеседнику, что режиссура — искусство сравнительно новое и его заслуги весьма преувеличены; что за последние тридцать лет это искусство превознесли до небес, тогда как в прежнее время ни Мольер, ни Расин о нем не пеклись! А Жан Ануй убедительно доказал на практике, что необходимости в режиссере не существует, и в каждой постановке своих пьес превосходно руководил актерами самолично. Я объявила, что полномочия, которыми теперь наделяют режиссеров, чрезмерны и неоправданны, в доказательство чего я возлагаю сию святейшую обязанность на себя лично. Я убедила в этом своего собеседника и — увы! — себя тоже. Вот так мы и встретились — все мои актеры и я — прекрасным осенним днем на сцене Театра Эдуарда VII, без режиссерского надзора и чьих‑либо указаний, кроме моих собственных.

Может, я была не так уж не права по существу, но заблуждалась насчет собственной персоны: я забыла, что, во‑первых, Жан Ануй пользовался большим авторитетом, во‑вторых, что он совсем не «путался в словах», в‑третьих, что актеры не были для него одновременно компаньонами в кутежах. В отличие от меня. Несмотря на талант, хорошее отношение и все усилия, очень скоро моими стараниями актеры стали сбиваться с пути истинного. Театр Эдуарда VII, как известно, расположен в тупике между очаровательным баром «Сирос» и русским рестораном, не менее очаровательным и открытым круглые сутки. Вскоре мы стали питаться пирожками под водку (превосходное лекарство для нерешительных режиссеров!) и веселиться безо всяких на то оснований. В жизни не видела столько беспорядка, любовных похождений, хохота и шума, сколько за кулисами Театра Эдуарда VII в те два месяца, пока там шли репетиции. И теперь еще не могу пройти мимо этого тупика, не испытывая былого чувства легкости, прилива веселого настроения, и стыдно признаться — без всяких угрызений совести. А между тем… А между тем по моей вине мои актеры потеряли время, мои продюсеры (Мари Белль и Клод Жениа) денежки, а я сама не использовала возможностей пьесы, кстати, вовсе не такой плохой.

###### \* \* \*

Приведу один пример. Жюльетт Греко вывихнула ногу, зацепившись за проволоку, и тут «утонченность» моей режиссуры достигла вершины, ибо вечером того же дня, согласно моим указаниям, ей надлежало выйти на сцену с Мишелем де Ре, передвигавшимся в инвалидном кресле, и Жаном Луи Трентиньяном с рукой на перевязи после дуэли. Когда выяснилось, что Жюльетт придется лежать на софе между двух этих калек с ногой на вытяжке, мне стало просто дурно.

Вдобавок во время последней репетиции я наткнулась на одного из безапелляционных критиков‑незнакомцев, какие всегда болтаются в театре накануне генеральной, а этот оказался не только безапелляционным, но еще и тугоухим. «Ничего не слышно, верно? — мрачно спросил он после последнего прогона. — И завтра, по‑моему, будет слышно не лучше». Почему я ему поверила? Загадка для меня самой. Так или иначе, я вместе с самоотверженным звукоинженером и преданным делу электриком не спала всю ночь, устанавливая целую систему якобы ультрасовременных усилителей. Должно быть, звукоинженер в спешке упустил какую‑то деталь, потому что назавтра при первой пробе, стоило лишь открыть рот, усилители начинали так громко фонить, что мы оторопели. Я считала, что от них следует отказаться, но, поскольку в свое время дальновидные продюсеры на такой расход не пошли и я щедро оплатила эту чудодейственную систему из собственного кармана, мои милые актеры не пожелали, чтобы я разорилась зазря. Генералка прошла в забавной атмосфере: театр походил на межпланетный корабль с фоновыми шумами в духе «Звездных войн». Такие вполне современные свисты и раскаты были анахронизмом для пьесы, время действия которой — примерно 1900 год, а место действия — Санкт‑Петербург. Я видела, как приглашенные покидали зрительный зал: один тряс головой, как испуганная лошадь, другой заткнул указательными пальцами уши, третий судорожно сглатывал… Совершенно очевидно, что это не могло не сказаться на критиках и также немало способствовало провалу пьесы.

###### \* \* \*

Добавлю, что благодаря участию моих блистательных актеров, несмотря на провал, пьесу играли добрых три месяца при сравнительно полных залах (усилители в конце концов сняли). И что эти три месяца были восхитительными, поскольку я почитала своим долгом всячески поддерживать присутствие духа у актеров проваленной из‑за моей беспечности драмы. С этой благой целью я продолжала вместе с ними заглатывать пирожки и пить водку, что окончательно сделало эту труппу самой вымотанной и самой веселой во всем Париже.

###### \* \* \*

…Зато Мари Белль, моему продюсеру номер один, было не до веселья. Пока шли репетиции, ее не было в Париже и она не могла вмешаться в выбор актеров и декораций, что этой властной женщине не понравилось. Вернувшись уже к последним репетициям, она взирала на меня грозными глазами, на роковой генералке ее глаза стали метать громы и молнии. После этого фестиваля научной фантастики она вызвала меня к себе в кабинет. Они с Клод Жениа поджидали меня стоя — эдакие две парки.

— Ну и как, ты довольна собой? — спросила она, когда я вошла с виноватым видом. Голос ее не сулил ничего хорошего (еще слава богу, что они слушали спектакль из своего кабинета и, должно быть, приписали свист и хрипы, напоминающие космические, неисправности своего динамика).

— Как сказать, — дипломатично ответила я.

— И что же ты намерена делать дальше? — сердито осведомилась Мари, великолепная в своих черных мехах, увешанная массивными драгоценностями.

На всякий случай я изобразила на лице вдохновение.

— Вообще‑то у меня есть уже начало следующей пьесы, — холодно ответствовала я. — Вот послушайте: «Что это за ужасный шум в ветвях, Сомс?» — «Это ветер колышет деревья, миледи».

Тут я остановилась. Мари смотрела на меня растерянно — впервые за наше знакомство.

— А что дальше? — не удержавшись, спросила она.

— Дальше? Это все, — сказала я. — У меня пока еще написано только начало. Но можно было бы взять тех же актеров, — добавила я, — и те же декорации: они не успеют износиться, судя по такому началу. Ведь пьеса…

На этом я выскочила из кабинета, не дожидаясь, пока моя нежная Мари запустит в меня стаканом.

###### \* \* \*

Между прочим, два года спустя занавес театра «Жимназ» поднялся для генеральной репетиции новой пьесы, и английская леди спросила: «Что это за ужасный шум в ветвях, Сомс?» — «Это ветер колышет деревья, миледи», — ответствовал тот.

Вот так‑то, говорят же вруны: «Когда есть две первые реплики пьесы, считай, что есть и все остальное». Эта пьеса, «Лошадь в обмороке», шла довольно успешно, за ней последовали другие — с разной судьбой, я не стану описывать все это здесь в подробностях, чтобы не наскучить. Просто скажу, что самым потрясающим провалом в моей жизни был провал последней пьесы, «Хорошая погода днем и ночью».

###### \* \* \*

Когда я уходила на ее премьеру, моя собака, виляя хвостом, провожала меня, и прямо в дверях ее стошнило на мое вечернее платье. Я наспех переоделась и, опаздывая, превысила скорость. Два полицейских задержали меня на добрых полчаса. Когда я все же добралась в театр на Елисейских Полях, мне сообщили новость: лифт, перевозивший публику — блистательный «Весь Париж»! — сорвался с троса и приземлился метров на десять ниже положенного, разметав моих гостей в разные стороны; жертв, правда, не было, но настроение оказалось испорчено. Во время спектакля одна дама из‑за духоты упала в обморок, а многие важные персоны уснули. Восемь героических зрителей все же пришли за кулисы после спектакля, чтобы поздравить меня, однако газеты единодушно опровергли свои прежние утверждения о том, что я обладаю талантом драматурга.

###### \* \* \*

Как и всякий раз в подобных случаях, недели две я весело насвистывала: провал в театре бодрит гораздо больше, нежели успех — по крайней мере меня. Что остается драматургу в случае успеха? Скромно опускать глаза и говорить, указуя на актеров и режиссера: «Это вовсе не моя заслуга. Полноте, вы преувеличиваете… Я счастлива, что вам понравилось» и т. д. А в случае провала надо прежде всего напомнить актерам, окружившим тебя со слезами на глазах, что происшедшее — еще не конец света, ситуация в Чаде намного хуже, что двухмесячное заточение кончилось, двери распахнулись, и за ними вовсе не ад. Что же касается злопыхателей — а без них дело не обходится, такова парижская реальность, — которых ваша неудача обрадовала, то перед ними сохранять хорошую мину просто необходимо. Правила поведения в театре аналогичны этикету в казино. Улыбаться, насвистывать, говорить: «Дела неважнецкие, верно? Что ж, всякое случается. Но знаете, бывает и хуже…» и т. д. Когда долго разыгрываешь беззаботность, в конце концов ее обретаешь. К тому же, если три месяца усилий, волнений, свистопляски, раздумий, работы — да еще какой! — за полтора часа спектакля сводятся на нет, в этом есть нечто героическое, безумное, фатальное, романтичное — короче, нечто такое, из‑за чего как бы там ни было, но я, кажется, никогда не смогу отрешиться от театра, как и от азартной игры.

## Глава 7

## Рудольф Нуриев

Мне предстояла встреча с Рудольфом Нуриевым, с которым я была незнакома, да еще в Амстердаме — городе, тоже мне неизвестном. Было начало марта, нескончаемый дождь поливал этот тихий город и его каналы, а я нервничала в ожидании разговора со знаменитостью. Разумеется, я восхищалась Нуриевым, но не так, как восхищаются им балетоманы и знатоки балета, и боялась, что не сумею бойко рассуждать о предмете, в котором не разбираюсь. Я восхищалась просто красотой этого человека и красотой, явленной его танцами на сцене парижской «Оперы». Я видела, как он выбегал на освещенный юпитерами круг, видела его блистательный прыжок, и что‑то говорило мне — эти движения, эти па у него получаются изящнее, мощнее, прекраснее, чем у других балетных танцоров.

А поздними вечерами мне случалось встречать его в ночных кабаре — он шел стремительной, раскованной походкой, как на крыльях, с лицом волка и раскатистым смехом русского. В ту пору он принадлежал большой семье парижских полуночников, и можно было запросто переброситься с ним парой‑тройкой теплых, ни к чему не обязывающих фраз, принятых в той среде.

В Амстердаме же, спокойном и самодостаточном, в упорядоченном уюте ресторана для людей респектабельных в первый момент я растерялась, почувствовав, что не смогу установить какой‑либо контакт с этим сорокалетним молодым человеком. А между тем он был весел, вел себя непринужденно, любезно, дружелюбно, хотя и слыл совсем другим; я же с ужасом осознавала, скольких усилий ему это стоило, тогда как усилия следовало прилагать мне. К нашему столу подходили завсегдатаи ресторана, прося у него автограф, а он снисходительно их раздавал, сопровождая саркастической улыбкой и едкими замечаниями, это навело меня на мысль, что он преисполнен горечи. После нескольких переездов на такси в тщетных попытках провести ночь без сна, какой в Амстердаме не существует, или, по меньшей мере, ее не существовало для нас в тот вечер, мы очутились примерно в два часа поутру в клубных креслах гостиничного холла, усталые и разочарованные, не зная — во всяком случае, не знала я, — на чей счет это разочарование отнести — его или мой. Потом я, кажется, спросила, любит ли он людей, жизнь, свою жизнь, и тут, когда он наклонился вперед, готовясь ответить, я увидела, как его лик — ироничный, безучастный — преобразился, он стал похож на беззащитного ребенка, которому так хочется открыть мне истинную правду; этому человеку с чутким, умным и открытым лицом мне просто необходимо было задать все вопросы, какие только у меня накопились.

###### \* \* \*

Мы провели в Амстердаме три дня — три дня мы обедали и ужинали с Нуриевым, три дня ходили за ним по пятам, и он не выказал ни малейшего неудовольствия, нелюбезности, что при драконовских расписаниях турне этого балованного ребенка было пределом вежливости. Уже не припомню, какие вопросы я ему задавала, что он отвечал, во всяком случае, похоже, мои вопросы были достаточно расплывчатыми, зато его ответы — в этом я уверена — отличались редкой точностью и чистосердечием. Один глагол особенно часто слетал с его уст — «fulfil». «I want to fulfil my life»,[[9]](#footnote-9) — твердил он. И для того, чтобы «fulfil his life», у него был, есть и всегда будет танец, его Искусство. Он говорил об этом искусстве опасливо и почтительно, как дикари о своих тотемах.

В шесть лет, увидев в родной сибирской глуши балет «Лебединое озеро», Нуриев решил стать танцовщиком. Одиннадцать лет он твердо знал, не имея ни единого случая удостовериться в этом, что ему предначертано стать танцовщиком. В том городе, где он жил, не было никакой возможности учиться хореографии, и он мог предстать перед зрителями, только выступая на самодеятельных вечерах народного танца. Потом его признали, его открыли, и он приехал в Ленинград или Москву, точно не помню, где ему пришлось за два‑три года пройти полный курс предмета своей страсти, соблюдать суровый режим, предписываемый ею, и постичь ее беспощадные законы. Три года он жил, не ведая отдыха, не имея времени присесть, прилечь, выспаться — нельзя было позволить мышцам расслабиться, чтобы они удлинялись, утончались, приобретая такие изящные формы, каких уже добились его однокашники. Ноги, ляжки, икры Нуриева очень сильные и при этом на редкость тонкие для мужчины его роста, что создает впечатление невероятной крепости и придает земной облик телу; а торс его, руки, шея легки и устремлены в небо.

Три года спустя Нуриева признали лучшим танцовщиком «всея Руси», первым и единственным. Однако его товарищи, постранствовав по далекой Европе, возвращались с любительскими фильмами‑короткометражками на 8‑миллиметровой пленке, где он увидел то, что делали другие танцоры, что придумывали другие, — все то, что он, лучший из лучших, никогда не узнает и без чего не сможет по совести, в глубине души, считать себя и вправду лучшим. Вот почему, садясь в самолет и навсегда покидая Москву, родную землю, родственников и близких ему людей, он мечтал не о свободе, не о роскоши, не о празднике, не о почестях, а о Баланчине — о новациях и смелости искусства этого знаменитого хореографа. Вот почему, думается мне, даже теперь — хотя, когда говоришь с ним о его маме или сестрах, которых он так и не видел целых восемнадцать лет и с которыми мог общаться только по телефону, лицо его мрачнеет, и он умолкает, — даже теперь он ни на мгновение не сожалеет о своем отъезде. Судьба Нуриева прекрасно иллюстрирует лубочную картинку, романтическое клише (хотя оно может показаться слишком выспренним), согласно которому единственной родиной, единственной семьей человека искусства является его искусство.

Вот уже восемнадцать лет он не перестает искать, экспериментировать, углублять и открывать новые возможности единения музыки с его телом. Он повсюду танцует в спектаклях, принесших ему признание, но все это ради того, чтобы создавать новые постановки, открывать людям современное, вечно живое искусство, зачастую трудное для восприятия, которое, возможно, лишь он один и может открыть публике, столь же консервативной, сколь и снобистской. Он разъезжает из страны в страну, из города в город, живет в самолетах, поездах, отелях, никогда не останавливается, его личная жизнь, как и его тело, подчиняются такому ритму, какой он им задает. У него много друзей и нет друга, много любовных похождений и нет любви, он почти всегда в одиночестве, но никогда не чувствует себя одиноким, потому что единственный багаж, за которым он зорко присматривает, — это чемодан, набитый кассетами, сопровождающий его во всех поездках.

Вот Нуриев приезжает вечером в Нью‑Йорк. Гостиничный номер — копия того, который он накануне оставил в Берлине, и того, который назавтра примет его в Лондоне. Он сбрасывает обувь, растягивается на постели, прислушивается к шуму города и, протянув руку, нажимает на кнопку: музыка Малера или Чайковского растекается по комнате, превращая ее в обитель его детства, юности, всей будущей жизни; она становится теплой и родной колыбелью его грез.

Так что пусть себе завтра люди станут ему аплодировать — он любит их аплодисменты, нуждается в них и признается в этом без всякого стеснения, — пусть себе люди станут кричать о чуде или о своем разочаровании, объявлять его великим или заявлять, что он уже не тот, пусть себе, понизив голос, они говорят о его проказах, скандальных историях, в которые он замешан, о несносном характере танцора. Нуриеву на это наплевать. Для него реальность — не эта алчная и неотвязная толпа, с ее шлейфом слухов, не эти большие самолеты, слепые и глухие, которые бороздят небеса над бескрайними океанами, не эти номера в отелях, похожие один на другой, и даже не эти кровати, куда он сбрасывает килограммы усталости, пота, перемешанного с гримом («Кровать — самый лучший, самый верный и самый нежный из любовников», — говорит он); для него реальность — это три часа или шесть часов, проводимые им ежедневно в одном из репетиционных залов, тоже похожих друг на друга, оборудованных в сердце каждого города.

###### \* \* \*

В один из дней в Амстердаме мы отправились смотреть, как Нуриев репетирует. Это была обыкновенная репетиционная, зеленая с коричневым, унылая и грязная, с непротертыми зеркалами и скрипучим паркетом — такая же, как и повсюду, во всем мире. Поверх трико на танцовщике шерстяная фуфайка — не первой свежести и дырявая, а на проигрывателе скрипит и заикается музыка Баха. Увидев нас, он остановился, чтобы отпустить шутку и обтереть пот. Я смотрела, как он вытирает затылок, промокает торс, лицо резковатыми движениями и как‑то отстраненно, словно конюх, перевязывающий лошадь. Затем он переставил иголку на начало пластинки и, сняв митенки и шерстяную фуфайку, с улыбкой вернулся на середину зала. Когда зазвучала музыка, он, посерьезнев, стал в исходную позицию и, раскинув руки, посмотрелся в зеркало. Никогда в жизни я не видела, чтобы кто‑нибудь так смотрел на свое отражение. Люди смотрятся в зеркало со страхом, любованием или смущением, как правило, робея, но они никогда не видят себя глазами постороннего. Нуриев же оглядывал свое тело, голову, движения шеи со стороны — объективно, с доброжелательной холодностью, что было для меня откровением. Он устремлялся вперед, бросал свое тело так, что, описав безукоризненную арабеску, приземлялся на одно колено, грациозно вытянув руки; он выполнял все это с быстротой и грацией кошки, и зеркало отражало сочетание мужественности и изящества этого тела. Все время, пока он репетировал и пока его тело повиновалось музыке, проникалось ею, пока он, двигаясь все быстрее и быстрее, подпрыгивал все выше и выше — так, будто его, замечтавшегося, возносят не ведомые никому боги, он смотрел на себя, как хозяин смотрит на слугу, как лакей на господина, не поддающимся определению взглядом, требовательным, хотя порою граничащим с нежностью. Он репетировал одно и то же место дважды, трижды и всякий раз смотрелся по‑разному — по‑разному красиво. Потом музыка не то кончилась, не то он прервал ее одним из своих царственных жестов, секретом которых владеют люди, живущие вне повседневности, и вернулся к нам, улыбаясь, промокая все теми же рассеянными движениями взмыленный инструмент — свое тело. До меня начало доходить, какой именно смысл вкладывал он в глагол «fulfil».

Затем, конечно же, был Нуриев, резвившийся на набережных Амстердама, Нуриев — вечный юноша, то обаятельный, то взыскательный, то любящий, как брат, то замкнутый, вечно спешащий, как инопланетянин на чуждой ему Земле. Ему не занимать шарма, великодушия, воображения, впечатлительности, потому у него пятьсот разных ликов, и, наверное, этому есть пять тысяч психологических объяснений.

Разумеется, я не льщу себя надеждой, что разобралась в Рудольфе Нуриеве — звезде, наделенной гениальностью. Но если мне потребовалось бы кратко охарактеризовать этого человека, вернее, указать, что, на мой взгляд, определяет его сущность, то до лучшего мне не додуматься: полуобнаженный мужчина в трико, одинокий и красивый, приподнявшись на пуантах, критическим и восхищенным оком созерцает в тусклом зеркале репетиционной залы отражение своего Искусства.

## Глава 8

## Сен‑Тропез

В Сен‑Тропезе середина июля… Шесть часов вечера. Я сижу на террасе отеля «Понш»; хоть лето и наступило, над моей головой простирается серое, свинцовое небо без единой розовой прожилки.

###### \* \* \*

Я положила ноги на стул, чтобы не угодить в лужу. На коленях у меня раскрыта книга, но вот уже час, как я тщетно пытаюсь дочитать страницу. Перед моим взором прохаживаются люди в смешной одежде, рассчитанной на дождливое лето: шорты и спортивная куртка с капюшоном; а на лицах выражение несправедливо наказанных детей. На одноногом столике по правую руку уже растаяла льдинка в лимонаде — теплом, как этот дождь, который снова припустил, скользит по моим волосам, щеке и в конце концов вынуждает меня встать и спрятаться от него под крышей.

Неделю назад, в Париже, я поднялась с постели в одно прекрасное утро, или, скорее, утро, похожее на другие: дождь все шел и шел, а на лицах прохожих читались тоска, разочарование и испуг, город выглядел облезлым, а небо куда‑то переместилось, — и решила по заведенной привычке сбежать к морю, в Сен‑Тропез. Однако впервые в моей жизни тучи не расступились в Лионе, не рассеялись в Валансе, не исчезли в Море. Впервые в моей жизни по приезде в Сен‑Тропез я увидела такое же небо над заливом, какое оставила над столицей, и тот же серый металлический отблеск на глади Средиземного моря, что и на водах Сены. Всю дорогу меня сопровождал дождь, он идет и по сей час; весны не было; лета не предвидится; страх, тоска и хандра ехали вместе со мною тысячу километров в погоне за исчезнувшим солнцем.

А между тем наступило лето 1980‑го, теперь всего двадцать лет отделяет нас от пресловутого 2000‑го, до которого, судя по предсказаниям многих Кассандр, нам не дожить: мы падем жертвами наших познаний в области материи и невежества по части духа. Вполне возможно, что ошибка будет громоздиться на ошибку, безумие на безумие — и какой‑нибудь всемогущий избранник или мелкая сошка с поехавшей крышей уничтожит эту Землю, такую красивую, спалит ее дотла, а мы, люди, обуглимся и сгинем, и никто, никогда — даже много времени спустя — так и не узнает, почему, каким образом, по чьей воле, наконец…

###### \* \* \*

А пока есть время, я поведаю вам, как складывались, складываются и будут складываться мои взаимоотношения с Сен‑Тропезом — тихим городишком, что в департаменте Вар, но только облеку свой рассказ в форму трагикомедии, хотя число ее действий и картин сейчас уточнить еще не сумею — ведь у памяти не меньше причуд, чем у воображения. Не обещаю вам ни полной объективности, ни полного соответствия описываемых фактов правде того времени, могу только обещать свою — сегодняшнюю — правдивость, что само по себе не так уж и мало, когда речь идет о городе, скорее деревне, которая и по сей день вызывает у влюбленных в нее людей, независимо от их возраста, маниакальное желание предаваться воспоминаниям, болезненную склонность оглядываться на прошлое, когда мы там веселились как безумные или помирали от тоски и печали, и уж во всяком случае пребывание там изобиловало тонкими ощущениями. Сен‑Тропез, как бы ни числить его — городом или деревней, располагает к мечтательности, умопомешательству, тихому или буйному; так или иначе, но в нем, как нигде на всем земном шаре, затаилась некая притягательная сила, воздействующая на всех — поголовно и немедленно.

Итак, дарю вам мою трагикомедию.

### Акт первый

Время действия — 1954‑й или 1955 год. Утро. Маленький порт под бледно‑голубыми небесами. Весна. Запыленная машина с открытым верхом — «Ягуар» старой модели — только что припарковалась в порту. За ее рулем растрепанный молодой человек (мой брат), а рядом с ним растрепанная девушка (я сама). Глаза обоих героев покраснели и усиленно моргают из‑за ослепительного солнца, которое стоит почти в зените. Они долго петляли по Седьмой автостраде, длинной и неухоженной, ехали через большие города и деревни среди других таких же путешественников‑завсегдатаев. Они останавливались где им взбредало на ум, например, перед кафе, задерживались, чтобы поболтать с обслугой — то были еще не никелированные автоматы и они не питались жетонами; порой брат и сестра даже преспокойно располагались на травке‑муравке под деревом, забыв про удобства автостоянок. Говорят, на этих разбитых дорогах с двусторонним движением автомобилисты часто сталкиваются лбами. Единственная корысть, влекущая их сюда, — тут не надо платить дорожную пошлину.

###### \* \* \*

Проехав по такой дороге — немыслимый в наши дни анахронизм — и чудом уцелев, двое молодых людей, выйдя из автомобиля, направляют свои стопы к единственному агентству по купле‑продаже недвижимости. Потом они заглянут спрыснуть свое прибытие в единственный бар под названием «Промежуточная остановка» — его содержит старая Мадо, — в темное, затрапезное помещение, где пахнет деревом, морилкой и лимонадом, а во второй половине дня наведаются еще в «Вашон», единственный здешний магазин, чтобы сменить парижскую одежду на чесучовые брюки и холщовые туфли на веревочной подошве. В «Вашоне» заправляют обходительная женщина и ее семейство (одно из пяти семейств, верховодящих в Сен‑Тропезе, как двести семейств — во всей Франции). Два действующих лица первого акта в быстрой смене картин осматривают восемь или десять домов, объявленных к продаже, — все красивые, как на подбор, и обращены фасадом к голубому морю, застывшему у берегов, — единственное, что неизменно в Сен‑Тропезе. Остановив свой выбор на самой большой вилле, ближайшей к площади Понш (на местном диалекте — «рыбацкий порт»), они обосновались в ней. Вначале одни, но очень скоро к ним понаехали бледнолицые друзья — жертвы городской жизни, в свою очередь высадившиеся здесь, одолев перипетии и опасности Седьмой автострады. Ошалелые парижане усаживаются в баре на площади и наконец‑то дают отдых глазам, приходя в себя от крайнего переутомления, какое случается в двадцать лет, поглядывая то налево, на местных старух, занятых вязанием под разговоры на прелестно звучащем местном диалекте, то направо, вдаль, на зелено‑синее побережье Сент‑Максим с белыми пятнами домов, то вперед, на рыбацкие барки под линялыми парусами, которые выходят в море за здешней рыбой — «Эти дорады — дети голубой волны, эти золотые рыбки, эти поющие рыбки…» — писал о них Рембо, — или возвращаются в порт по блеклому утреннему морю в темпе, заданном двухтактным мотором, который тарахтит и раскачивает лодку.

То будет единственное лето — и единственная картина в сен‑тропезианской комедии, когда слева виднеются лишь безмятежные вязальщицы, а справа — только беспечные рыбаки. То будет единственное лето, когда увидишь людей, занятых делом. А посему в городе царят тишина и покой.

### Акт второй

Во втором акте можно увидеть, как изобилие досуга в каникулярное время и праздность скажутся на всех обитателях этого дома: слева стайка возбужденных, встрепанных наяд, которые мечутся по лавочкам, выбирая купальники; справа лодки с подвесными моторами и молодые люди: силясь перекричать друг друга, они беспорядочной группкой устремляются к пляжу, спеша растянуться на песке — всего в пятнадцати метрах от дома. Вот вам первая добродетель и первый порок Сен‑Тропеза: тут не соблюдается порядок слов, принятый во французском, а некоторые его выражения теряют первоначальный смысл. Мы еще вернемся к этой теме…

Иначе говоря, в доме близ площади Понш лишь одно лето показалось нормальным и моим друзьям, и мне самой — то, первое, когда Сен‑Тропез безраздельно принадлежал нам (конечно же!): мы единственные пользовались — и злоупотребляли — его морем, безлюдными пляжами и их красотой, пользовались — и злоупотребляли — благожелательностью и поразительным терпением местных жителей: сигналили, проезжая по его улочкам ни свет ни заря, разыгрывали из себя шутов гороховых перед двумя жандармами, которые, заливаясь смехом, обзывали нас «чокнутыми» — тогда этот эпитет не казался вульгарной и грубой имитацией Паньоля (таковым он стал на второй год, а потом и вовсе исчез из обихода).

###### \* \* \*

Во втором акте, а точнее, в его второй картине события развивались по нарастающей. Память меня уже подводит… Роже Вадим вроде бы приехал снимать в порту свой фильм «И бог создал женщину», а может быть, уже закончил его съемки. Брижит Бардо купила себе «Мадраг» и влюбилась в Жана Луи Трентиньяна. Александр Астрюк задумал гениальную картину и хотел привлечь к работе меня. Мишель Мань сочинял симфонии для валторны и фагота, и наш большой дом походил на старый расстроенный орган; на площади Понш супруги Барбье поставили еще несколько столиков в дополнение к деревянной стойке и восьми табуретам, составлявшим «Бар рыбаков» (ныне это и есть отель «Понш», но тут все еще витают души покойных Альбера и его жены, которая умела так чистосердечно пошутить с клиентами).

Вся эта молодежь — творческая, но распоясавшаяся (этого нельзя не признать), к концу лета снова собралась на площади Понш. Роже Вадим заявился дать передышку своей камере и своему сердцу, переутомившемуся после съемок, актер Кристиан Маршан привез сюда свой длинный костяк и рассеянность человека, заваленного работой, и одновременно смех и суетливость школьника. Очень скоро фильм Вадима вышел на экраны и, как говорится, «натворил бед» — сначала в Париже, а на следующий год навлек беду и на нас.

### Акт третий

Солнце славы, всепроникающее и развращающее, в добавление к другому — круглому, благодушному небесному светилу — нависает над Сен‑Тропезом, в одночасье ставшим столицей запретных наслаждений. В самом деле, надо было дождаться 1960 года, чтобы слово «наслаждение» перестало автоматически сочетаться с эпитетом «запретное», который ipso facto[[10]](#footnote-10) сменил эпитет «непременное». Следом за покорными «черными баранами», какими были кинематографисты, музыканты, актеры, режиссеры и писатели, «для которых все на время стали загорелыми прототипами» (как писали в «Пари‑матч» и «Франс диманш»), в Сен‑Тропез нахлынули французские гуманоиды, еще полные невежды по части аморальности, распущенности, элементарнейших законов секса — будь это ширина бикини или широта взглядов, — не ведая, что одно не вытекает неизбежно из другого. Новоявленные паломники устремились сюда, как другие устремляются в Мекку или в Каноссу; их манил Праздник с большой буквы, хоть на том и кончалось его величие.

###### \* \* \*

На загорелых лицах этих, условно говоря, двуногих играет вымученная, кислая улыбка, когда им приходится стоять в очереди у «Вашона»; они воротят нос от «Шоз» и «Мик Мак» — двух конкурирующих лавочек, посмевших выставить свое барахло в порту. Им приходится также платить дороже себестоимости за лангустов в ресторане «Таити», где заправляет Феликс, удачливый рыбак, который больше сам в море не выходит. Конечно, Сен‑Тропез теперь принадлежит им, однако лавочники, домовладельцы, хотя уже и стригут купоны от прелести этого города (эти паразиты — «наши паразиты», как мы выражаемся), тем не менее по‑прежнему чтут нас, во всяком случае, они более или менее благодарны нам за манну небесную, посыпавшуюся на их головы с легкой руки молодых волхвов. Но мы больше не одни на дивных пляжах. И золотые денечки, бессонные ночи, хохот в сумраке и игра в догонялки на узких улочках, скоротечные любовные романы, случайные связи без продолжения — все это безумие перестало быть исключительно нашей привилегией.

Что же касается разгула, которым попрекают нас, то мы повидали, как ему предаются и иные прочие, с тою лишь разницей, что у них это получается не столь изящно и не по простоте душевной.

###### \* \* \*

А очень скоро начался разгул иного толка: прямо‑таки на наших глазах в Сен‑Тропез хлынули деньги. Надо признать, что успех и преуспеяние все еще пленяют, случается, их добиваются не из алчности и не путем ловкачества и приспособленчества. Поэтому вполне естественно, что Феликс, Роже или Франсуа — наши сверстники, не имевшие за душой ни гроша, открывают бар «Эскинад», превращая его в одно из первоклассных ночных заведений, чей успех так же очевиден, как и популярность «Табарена» или «Табу» в Париже — а эти названия у всех на слуху. И хотя успех еще не упрочился, он уже радует, поскольку это победа тройки взбалмошных, безденежных и очаровательных молодых людей. Пожалуй, они последние в ряду барменов, которые ближе к Фицджеральду, нежели к Жерару де Вилье.

###### \* \* \*

Да, но… Деньги уже тут, не прошло и двух лет. И как ни рядись или ни обнажайся по пояс, как ни прикрывайся парусами спортивных яхт на морском ветру или капотом «Феррари» под рык мотора, кого из себя ни разыгрывай — распутника, спортсмена, художника или даже эколога, — денежный запашок не улетучивается. Даже приняв смиренный вид бальи Сюффрена, деньги зорко наблюдают за всем происходящим вокруг и держат в своей власти все. Жандармы перестали говорить «чокнутый», а рыбу перестали покупать поутру прямо из трюма рыбацких баркасов. И только свалившийся с луны станет докучать вопросами, обращаясь к морякам, неосмотрительно расположившимся на берегу: «А какая погодка ждет нас завтра, дружище?» или «Не выпить ли нам пастиса, я угощаю?» Кое‑кто из наших уже поговаривает о том, что лучше бы перебраться в Нормандию.

### Акт четвертый, картины 1, 2, 3 и 4

За зиму дела изменились не в нашу пользу… За одну ли зиму или за две — поди знай… Некоторые аборигены с хорошей репутацией стали почетными гражданами Сен‑Тропеза на том основании, что выставляли впечатляющие счета, а некоторые новички послушно их оплачивали, чем и снискали уважение, но тем самым был поставлен крест даже на той малости поблажек, какими мы еще тут пользовались по заведенному порядку вещей. И те славные двуногие, что в силу разных обстоятельств — семейных, служебных или из‑за перепада настроений — пропустили одно лето или пару райских сезонов (память о них жива и по сей день), так и не знают, когда, как, по чьей вине… Впрочем, обо всем легко догадаться по тону, каким заговорили некоторые из процветающих молодых дельцов, чье благосостояние уже упрочилось: в них нет и намека на благодарность или даже общность интересов, на что имели глупость рассчитывать некоторые из нашенских двуногих, и посему они теперь пребывают в замешательстве… Что сделалось с моими друзьями? «Они разбогатели», — отвечали некогда Рутбефу.[[11]](#footnote-11) В замешательстве глядим мы на выросшие, как грибы, пятьдесят магазинов мужских сорочек, двадцать отелей, сорок бистро, десять ночных клубов, двенадцать агентств по купле‑продаже недвижимости и пять антикварных магазинов, пришедших на смену Мадо, «Портовому агентству» и «Вашону», а также «Леи Мускарден» — справа от моего дома и «Мавританской таверне» — слева (я не упомянула эти два ресторана в начале моей трагикомедии, поскольку их прославила еще Колетт, обедавшая там пятьдесят лет назад: церковь и мэрию тоже упоминать было необязательно)…

###### \* \* \*

…Короче, едут нынче в Сен‑Тропез не для того, чтобы порхать от наслаждения к наслаждению, назначать тайные свидания в разных уголках пляжа или разных отелях: туда едут, чтобы, отужинав в ресторане «Х», перебраться в ресторан «Y», перейти из клуба № 1 в клуб № 2, чтобы ночью, покинув одну компашку, примкнуть к другой, а днем пошататься по магазинам. Кончилась жизнь счастливого охотника и покорной добычи — люди меняют кланы, воспроизводя то один бродячий сюжет, то другой. Все точно так, как в древнегреческой трагедии, но тут бульварного Еврипида вдохновляет социологизированный Фейдо:[[12]](#footnote-12) любовь существует, лишь когда о ней судачат, пляж функционирует только как платные услуги, а стоимость желания обозначена в прейскуранте.

Сен‑Тропез уже становится как бы преддверием Рино: супружеские пары едут туда разводиться, то бишь открыто досадить одному из супругов и сделать явным то, что в Париже было тайным. Измены и разрывы выставляют напоказ охотнее, чем счастье. Теперь тут по ночам царят уже не смех, не наслаждение, не любопытство, а своеобразное самолюбование, когда веселье, наслаждение, любопытство становятся показухой, притворством, мало‑помалу скрывая истинное лицо этого общества — обуржуазившегося, кастового, провинциального, рассадника сплетен; таким стало (иначе и быть не могло) общество города, чьи герои наделены всеми правами, но не имеют ни одной обязанности. Во всяком случае обязанностей людей культурных: они оставляют на пляже бутылки из‑под коки, швыряют стофранковые купюры под ноги официантам, стаканы — с балкона, ломая голову, что бы им такое‑эдакое сотворить еще. Немцы, англичане, итальянцы сорят долларами, марками, лирами, швыряют их на голубой ковер Средиземного моря — того самого, где рыбы дохнут от бензина, пляжи замусорены еще до первого равноденствия, а отправляясь ночью прогуляться по бережку, приходится захватить коробку лейкопластыря. Мрачная картина — слов нет, но такой уж предстает она глазам тех двуногих, к коим принадлежу и я и кто, подобно мне самой, сбежал из этого розово‑желтого города, некогда любимого нами и принадлежавшего нам. Теперь они либо поносят Сен‑Тропез (как я сейчас), либо ностальгически извлекают из своей памяти, как фокусник кроликов из шляпы, яркие воспоминания молодости, уверяя, что теперь не то, что прежде.

В этой вавилонской деревне конфликт между поколениями туристов ныне настолько обострился, что приобретает комические формы. В некоторые мои повести нет‑нет да и проскользнут воспоминания о старом красавчике — мишени для моих девчачьих колкостей. Теперь же, вглядевшись, увидишь не одного такого сорокалетнего пижона, склонного к язвительности, — он поправляет английский шейный платок на сорочке из дорогого тика, стоившей ему баснословных денег у «Сакса» в Нью‑Йорке; когда он молодится, и если при этом не замечать его морщинистых щек и тик лица, память на мгновение извлекает портрет «того».

А какими глазами смотрит женщина лет сорока‑пятидесяти на «молоденьких кошечек с выставленной напоказ грудью»: в них‑де не чувствуется породы, они не умеют развлекаться, бедняжки… они начисто лишены вкуса… И, памятуя о своем опыте, эта еще озабочена тем, получают ли молодые удовольствие, занимаясь любовью, — такая вот, не лишенная пикантности, материнская забота.

###### \* \* \*

Вот как можно было бы закончить мой рассказ. Акт четвертый, картина 5. Год 1999‑й. Те же персонажи, только поседевшие и растолстевшие, взирают на сорокалетних сыновей, злословят по адресу своих двадцатилетних внуков и с ухмылкой язвительно заверяют, что, мол, да‑да, нынешняя молодежь спешит жить и фригидность ей не грозит (типично старческая зловредность!).

Однако же такая малоприятная картина в финале моей трагикомедии о прошлом, настоящем и будущем Сен‑Тропеза была бы полуправдой. Время идет, память же, слава богу, не сдвигается с места. И так же, как двадцать веков назад, сорокалетний римлянин, добравшись на своей колеснице до Остии, сокрушенно оглядывал эти берега, где в нескольких сотнях километров от него гречанка была обманута своим супругом, так и мы скорбим у края этой голубой чаши при мысли, что бессмертие нам не дано, а молодость быстротечна. Этот римлянин и эта гречанка — могли ли они вообразить, что море не перестанет плескаться у края кромки теплого песка, в котором утопают их ноги, солнце — вставать и садиться за горизонтом, удлиняя тени деревьев и домов, отбрасываемые на землю, даже если им больше не суждено увидеть все это и они перестанут дышать в унисон с биением своего сердца? Может статься, что это море, солнце, хвойный йодистый дух приносят особое, утонченное и странное наслаждение именно при мысли, что все это переживет человека на века!

Сорокалетний турист, прибыв в Сен‑Тропез в лимузине, автобусе или с автоприцепом, чтобы обосноваться у моря, одержим тем же чувством, что и золотоискатели Клондайка, некогда осевшие вблизи золотоносных жил. Туристы из всех стран движимы одной и той же замечательной слабостью — восхищаться красотой. А Сен‑Тропез красив — на диво красив. Он обладает нетленной красотой, в особенности для нас, бывших его хозяев. Мы приезжаем сюда весной, осенью или зимой — как только позволяют дела, — чтобы всякий раз удостовериться в том, что она еще есть, и насладиться ею (почти без обид).

###### \* \* \*

Начать с того, что здесь дуют разные ветры — два или три, которые, обрушиваясь на полуостров, подметают его, очищают от скверны, после чего воцаряется особая атмосфера — легкомысленная и веселая; какие‑нибудь два дня спустя чувствуешь себя заново родившимся. Солнце тут желтое и безмятежное, оно частенько светит даже тогда, когда в Канне и Монте‑Карло идет дождь. Рыжее побережье с глубокими расщелинами и откуда ни возьмись песчаными пляжами походит на иные трагедии Расина, где долго карабкаешься по диалогам и вдруг находишь отдохновение в долгой тираде. Есть «бушующее море, которое разбивается о края каменных преград», как сказал Кокто; море пенится тут больше, чем где бы то ни было, непредсказуемое и освежающее. Тут есть настоящие зеленые просторы, спрятавшиеся позади города, в отличие от остальной части прибрежной полосы, где ландшафт каменистый, облупившийся, неказистый, перегревшийся на солнце. А в Сен‑Тропезе сразу за пляжами расстилаются поля, луга, рощи пробковых дубов и холмы, напоминающие Иль‑де‑Франс; там есть водоемы, деревья, пахнет осенним валежником и грибами. И есть дороги, которые начинаются после Памплоны и уводят далеко‑далеко.

###### \* \* \*

Откуда ни посмотри — с моря или сверху, с крепости, куда не поднимается ни один человек, — Сен‑Тропез являет взору картину своих узких островерхих домов — иные из них покосились, но все ласкают глаз, эти трогательные желтые, красные, голубые или серые постройки, равно обжигаемые солнцем и овеваемые ветром, с крышами из тысячи черепичных лепестков, которые выцвели, приобретя палевый оттенок. Дома теснятся вокруг колокольни, часы которой разладились и отбивают время невпопад, но до них никому нет дела. Само собой, тут, как и в Италии, развешивают белье, некоторые террасы чересчур ухожены и утопают в зелени. Дома тут мастерской каменной кладки, поставлены на века, и даже под слоем новенькой дорогой краски эти камни не спрятать. Все они, как один, греются весь день на солнышке подобно кошкам или большим собакам. Пузатые, с узкими оконными проемами, они внушают доверие, и все, как один, рады, когда вы ночью проходите мимо. Двери хлопают, словно зазывая прохожего, а всегда освещенные окна подмигивают, помогая сориентироваться в темноте. Улочки Сен‑Тропеза пересекаются, разбегаются, поссорившись, и примиряются на городской площади, где красуется одно дерево, и то — кривое. На этих улочках все еще отдаются эхом крики корсаров или оклики ночных гуляк, а для нас — наши голоса двадцатилетней давности. По Сен‑Тропезу можно бродить часами, ночью и днем: от площади Лис[[13]](#footnote-13) — в порт, из бистро в бистро, из одной булочной, проснувшейся на рассвете, в другую, от белесого моря к постепенно голубеющему у маленького кладбища… того самого кладбища, где все мы желали бы обрести вечный покой, чтобы мимо проплывали парусники и солнце Сен‑Тропеза согревало бы наши бренные останки.

### Акт пятый

Лето 1980‑го. Занавес опускается. Я проспала три четверти часа, и мне приснился сон, вместивший двадцать пять лет моей жизни в Сен‑Тропезе. Проснувшись в темной комнате, я тут же прикрыла глаза, невольно прислушиваясь. Больше не было шума дождевых капель, и мне его почти недоставало. Наконец я осознала, что дождь перестал и что‑то светлое, остроконечное скользит по стене: луч знаменитого светила, именуемого солнцем! Встав с кровати, я распахнула ставни, и тут море и небо вернули мне голубые и розовые краски — вернули счастье. Всепроникающие лучи солнца рисовали черные ободки вокруг пастельных картинок — гребней крыш, пляжной дуги, мачт парусников.

Сейчас 1980 год, и, как знать, доживем ли мы до 2000‑го — или раньше какой‑нибудь упрямый и тупой самолет со своим экипажем, глухой к призыву опомниться (или какая‑нибудь чудовищная и безмозглая ракета, под стать безжалостным динозаврам доисторических времен), обрушится на нас, неся во чреве внезапную, испепеляющую смерть.

###### \* \* \*

Впрочем, сейчас это не так важно: солнце уже уместилось на моей ладони, и я, машинально протянув руку, не сжимаю ее в кулак. Как не удержать время и любовь, так не удержать солнце и жизнь — нечего и пытаться.

Я спускаюсь к людям — они смеются, они легко забывают, они готовы перебраться куда угодно, лишь бы «там» было похоже на «здесь». Но что ни говори, а подобное совершенство природы неповторимо…

## Глава 9

## Любовное письмо Жану Полю Сартру

«Дорогой мсье Сартр!

Я говорю вам „дорогой мсье“, мысленно возвращаясь к толкованию этого понятия в словаре, куда заглянула еще в детские годы. Там сказано: „Мсье — обращение к любому мужчине…“ Не стану же я называть вас „дорогой Жан Поль Сартр“, что скорее приличествует журналисту, ни „дорогой мэтр“: вы терпеть не можете такого титула, ни, наконец, „дорогой собрат по перу“, что слишком ко многому обязывает. Сколько же лет я вынашивала это письмо? Фактически лет тридцать — с того момента, как начала вас читать, но в особенности последние лет десять‑двенадцать, с тех пор, как восхищаться стало смешно и восхищаются столь редко, что, пожалуй, уже хочется стать посмешищем. Возможно, я настолько постарела или помолодела, что сейчас готова пренебречь этой опасностью показаться смешной, тем более что вас лично такие соображения никогда не волновали — вы просто были намного выше всего этого.

###### \* \* \*

Мне бы очень хотелось, чтобы вы получили это письмо 21 июня — в день, который выдался для Франции счастливым: это дата, когда, в разные годы, родились вы, я, а значительно позднее Платини — три замечательные личности, которых то превозносили до небес, то безжалостно топтали (слава богу, мы с вами подвергались этому только словесно) в отместку за излишки почестей в дни славы или же за шумные провалы. Оставим это без комментариев.

Но годы стремительно пролетают один за другим, воспоминания блекнут, и кончилось тем, что я отказалась от мысли приурочить свою хвалебную оду ко дню вашего рождения. И все же мне непременно нужно сказать вам нечто в оправдание такого сентиментального обращения.

###### \* \* \*

Итак, в 1951‑м я начала читать все книги подряд, и с той поры одному Богу и литературе известно, как я полюбила писателей и восхищалась ими, в особенности ныне здравствующими — и во Франции, и за ее пределами. За истекшие годы с одними я познакомилась лично, за творчеством других исподволь следила, и если существует еще много писателей, кем я восхищаюсь как авторами произведений, то вы — единственный, кем я восхищаюсь как человеком. Все, что вы посулили мне в мои пятнадцать лет — возраст умный, требовательный и целеустремленный, а следовательно, бескомпромиссный, — все свои обещания вы сдержали. Если говорить о писателях вашего поколения, то вами написаны самые умные и самые честные произведения. Вы же написали самую яркую и талантливую книгу во французской литературе — „Слова“. В то же время вы постоянно очертя голову бросались помогать слабым и униженным, вы верили в людей, в идеи, в общечеловеческие понятия, случалось, вы заблуждались, от этого никто не застрахован, но вы в отличие от всех других всякий раз признавали свои ошибки. Вы упорно отказывались принимать лавровые венки, отказывались от всех и всяческих материальных благ, которые вам приносила слава; вы даже отказались принять Нобелевскую премию по литературе, которая считается почетной, хотя нуждались в деньгах; на вашу жизнь трижды покушались в годы алжирской войны, и вы чуть было не стали жертвой пластиковой бомбы прямо на улице, но и глазом не моргнули; вы навязывали директорам театров актрис, которые нравились вам, на роли, не всегда подходящие для них, тем самым с блеском доказывая, что для вас любовь могла быть противоположностью „яркого траура славы“. Короче, вы любили, писали, делились, давали все, что только могли дать и что было важно, но в то же время отказывались от всего, что вам предлагали и что существенно в этой жизни. Вы были в равной мере писателем и мужчиной; никогда не утверждали, что талант оправдывает слабости человека или что счастье творчества уже само по себе позволяет презирать или пренебрегать своими близкими и всеми другими людьми. Вы даже не утверждали, что талант и честность оправдывают ошибки. Фактически вы не укрывались за пресловутой хрупкой природой писателя, не пускали в ход обоюдоострого оружия, каким является талант, вы никогда не были нарциссом, а между тем самолюбование — одна из трех ролей, отведенных современному писателю (две другие — роль маленького господина и большого слуги). Напротив, талант — это якобы обоюдоострое оружие вовсе не пронзило вас под вопли радости, как произошло со многими; оно оказалось легким для вашей руки, действенным, маневренным, вы любили его и нашли ему применение: вы передали в распоряжение жертв — подлинных жертв, тех, кто не умеет ни писать, ни объясняться, ни драться, ни даже жаловаться на свою судьбу.

###### \* \* \*

Не взывая к справедливости, поскольку вы не хотели никого судить, не говоря о чести, поскольку не хотели, чтобы вас чествовали, даже не упоминая о щедрости, поскольку сами же ее и воплощали, являясь единственным поборником справедливости, чести и щедрости нашего времени, трудягой, который отдавал все другим, жил, обходясь без роскоши, но и не подвергая себя лишениям, без табу и без разгула — если не считать потрясающего разгула творчества, — принимая любовь и даря ее, обольстительный и всегда готовый сам обольщать, превосходящий своих друзей по всем статьям — обгоняя их за рулем, выделяясь среди них блеском ума, — но при этом постоянно оглядывавшийся на них, дабы скрыть свое превосходство. Вы предпочитали быть обманутым, нежели равнодушным, вы даже предпочитали разочарование жизни без надежды. Какая образцовая жизнь для мужчины, никогда не стремившегося стать образцом для подражания!

###### \* \* \*

И вот вы лишились зрения, говорят, не можете больше писать и наверняка порою чувствуете себя таким несчастным, каким только может быть человек. В таком случае вам, надеюсь, будет приятно узнать, что, где бы я ни побывала за двадцать лет — в Японии, Америке, Норвегии, в Париже или французской провинции, — я повсюду встречала мужчин и женщин всех возрастов, которые отзывались о вас с таким же восхищением, верой в вас и благодарностью, какую высказываю вам в моем письме я сама.

###### \* \* \*

Этот век оказался безумным, бесчеловечным, коррумпированным. Вы были и остались умным, добрым и неподкупным.

Так пусть же вам воздастся за все это сполна».

###### \* \* \*

Я написала это письмо в 1980 году и опубликовала в красивой и прихотливой газете «Эгоист», которую издавала Николь Визнияк. Само собой, предварительно я заручилась разрешением Сартра, обратившись к нему через посредника. Мы с ним не виделись лет двадцать. Да и до этого встречались всего пару раз в ресторане, в присутствии Симоны де Бовуар и моего первого мужа — эти встречи были какими‑то натянутыми. А еще у нас было несколько забавных встреч в злачных местах — но мы оба делали вид, что друг друга не видим, — и состоялся один обед с очаровательным бизнесменом, который был ко мне неравнодушен. Этот господин предложил Сартру издавать журнал левого толка и выразил готовность его финансировать. Однако между десертом и кофе он убежал доплатить по счетчику за парковку автомобиля; Сартра это обескуражило, и его одолел нервный смех. Так или иначе, де Голль мало‑помалу забрал власть, что окончательно решило судьбу этого фантастического прожекта.

###### \* \* \*

И вот после таких коротеньких общений мы не виделись двадцать лет, и все эти годы мне хотелось поведать Сартру, чем я ему обязана.

Потерявшему зрение Сартру прочитали мое письмо, после чего он попросил меня о встрече и пригласил поужинать тет‑а‑тет. Я заехала за ним на бульвар Эдгара Кине — всякий раз, когда я прохожу там теперь, у меня сжимается сердце. Мы направились в «Клозри де Лила»: я держала его за руку, чтобы он не упал, и заикалась от робости. Думаю, мы составляли самый курьезный дуэт во всей французской литературе, и метрдотели порхали перед нами, как перепуганные вороны.

###### \* \* \*

Этот ужин состоялся за год до его кончины. Он стал первым в длинной череде, но я об этом еще не знала. Я полагала, что Сартр пригласил меня из вежливости, и была уверена, что он меня переживет.

###### \* \* \*

Мы ужинали наедине раз в дней десять. Я заезжала за ним, а он уже ждал меня у входа в своем dule‑coat,[[14]](#footnote-14) и мы удирали, как воры, кто бы ни был тогда у него.

Должна признаться: вопреки тому, что рассказывали и вспоминали о последних месяцах жизни Сартра его близкие, лично я никогда не ужасалась и не была подавлена, видя, как он ест. Правда, ему не удавалось сразу донести вилку до цели, но это потому, что он ослеп, а не из‑за старческого маразма. Я очень сердита на людей, которые в своих статьях, книгах жалели его, огорчались по его поводу или же презрительно отзывались о наших трапезах. Пусть бы они лучше закрыли глаза, если это оскорбляло их эстетическое чувство, и слушали его голос — веселый, бодрый, мужественный, — услышали бы, как свободно он излагает свои мысли.

###### \* \* \*

Он говорил, что ему нравилось в наших отношениях: мы никогда не обсуждали других людей, в том числе и наших общих знакомых. Он сравнивал наши разговоры с разговорами пассажиров на перроне вокзала… Как же мне его не хватает. Я любила держать его за руку, а он при этом поддерживал во мне присутствие духа. Любила делать то, что он мне велит, и мне было наплевать на его неловкость ослепшего человека. Я восхищалась тем, что он сумел пережить свою страсть к литературе. Любила ездить в его лифте, возить его на прогулку в машине, разрезать ему мясо в тарелке, пытаясь наполнить весельем те два‑три часа, которые мы с ним проводили вместе, любила готовить ему чай, тайком приносить виски, вместе с ним слушать музыку, но больше всего любила слушать его самого. Мне было невыносимо оставлять его одного перед дверью дома, где он жил, и видеть, что его глаза как будто печально смотрят мне вслед.

Хотя мы каждый раз договаривались о следующем свидании и встречались часто, всякий раз у меня было впечатление, что мы больше не свидимся, что ему надоела «шалунья Лили», то бишь я, и мой детский лепет. Я боялась, как бы с нами что‑нибудь не стряслось — с ним или со мной. И конечно же, когда я видела его в последний раз — за последней дверью он вместе со мной ждал последнего лифта, — я несколько приободрилась. Мне думалось, что он все же не хочет лишиться меня, и не приходило в голову, что вскоре он может лишиться жизни.

Я помню эти странные ужины, не всегда изысканные, которые мы себе устраивали в скромных ресторанах 14‑го округа. В самом начале он мне сказал: «Знаете, мне прочли ваше „любовное послание“ — оно мне очень понравилось. Но как попросить, чтобы мне его прочитали вторично и я мог сполна насладиться всеми вашими комплиментами? Да меня бы просто‑напросто сочли параноиком!» Тогда мне пришлось записать свое собственное объяснение в любви на пленку — у меня ушло на это шесть часов, так я заикалась. Потом я наклеила на кассету лейкопластырь, чтобы он мог узнавать ее на ощупь. После этого он уверял, что прослушивает запись иногда по вечерам в одиночестве, когда падает духом. Но я не сомневаюсь, что он это говорил только из желания сделать мне приятное. А еще он говорил: «Что‑то вы начали мне отрезать слишком большие куски мяса. Уж не теряете ли вы ко мне уважение?» И когда я принималась хозяйничать у него в тарелке, он смеялся: «Как мило с вашей стороны. Это хороший признак: умные люди всегда милы. Я знавал только одного типа — умного и злого, но он был педераст и жил в пустыне». Ему до смерти надоели мужчины, те бывшие молодые люди, те бывшие мальчики, что называли его своим отцом, его, всегда любившего только женщин. «До чего же они меня утомляют! — сетовал он. — Оказывается, я несу вину за Хиросиму… я несу вину за Сталина… я несу вину за их притязания… я несу вину за их глупость…» И он смеялся над всеми уловками этих самозваных интеллектуальных сироток, провозгласивших его отцом. Сартр — отец? Чушь! Сартр — муж? То же самое! Любовник — вполне допустимо. Его непринужденная манера общения, пыл, с каким он, даже будучи слепым и наполовину парализованным, относился к женщине, говорили об этом недвусмысленно. «Знаете, когда со мной случилась эта беда — я ослеп и понял, что не смогу больше писать (пятьдесят лет я писал по десять часов в день, и то были лучшие часы в моей жизни!), я был так потрясен, что даже хотел наложить на себя руки…»

Поскольку я промолчала и он почувствовал, что меня ужаснула одна только мысль о его страданиях, Сартр добавил: «Но я даже не попытался. Видите ли, всю мою жизнь я был так счастлив, я был всегда, до последнего дня, мужчиной, настолько созданным для счастья, что мне не пристало менять свою роль на другую. Я продолжал быть счастливым — по привычке». И пока он говорил эти слова, я слышала и то, чего он недосказал: «чтобы не причинять горя моим близким». И в особенности женщинам, которые ему названивали, случалось, и в полночь, когда мы возвращались после наших ужинов, или же в полдень, когда мы с ним пили чай, и чувствовалось, как они требовательны, как одержимы, как зависимы от этого мужчины — калеки, слепого писателя, утратившего возможность писать. Эти женщины забывали чувство меры, но тем самым они возвращали его к той жизни, какою он жил прежде, — жизни дамского угодника, волокиты, враля, утешителя или лицедея.

###### \* \* \*

Потом, в тот последний год его жизни, Сартр уехал отдыхать на три месяца, поделив их между тремя женщинами. Он пустился в путь безбоязненно, безмятежно, покоряясь судьбе. Все лето мне казалось, что я теряю его. Когда он возвратился в Париж, мы свиделись опять. На сей раз, думалось мне, я остаюсь при нем «навсегда»: навсегда моя машина, его лифт, наши чаи, прослушивание кассет, этот голос — неунывающий, временами нежный и всегда уверенный.

Увы, ему было уготовано другое «навсегда» — для него одного.

###### \* \* \*

Я шла его хоронить, не веря в случившееся. А между тем это были прекрасные похороны; пришли тысячи людей, никак не связанных между собой, но все они тоже любили его, почитали и провожали многие километры до последнего приюта. Этим людям не выпало знать его и видеться с ним на протяжении целого года; их глаза не запечатлели множество душераздирающих кадров; этим людям не будет так его недоставать каждые десять дней — все оставшиеся дни. Этим людям я завидовала и в то же время жалела их.

Впоследствии я была, разумеется, возмущена постыдными рассказами о Сартре, якобы впавшем в маразм, сфабрикованными людьми из его ближайшего окружения, я отказывалась читать их воспоминания, зато я не забыла его голоса, смеха, его ума, мужества и доброты. Вряд ли я когда‑нибудь оправлюсь от удара, каким стала для меня его смерть. Потому что порой не знаю, что мне делать. Что думать. Потому что, кроме этого мужчины, сраженного бедой, нет никого, кто мог бы меня наставить на путь истинный, никого, кому бы я могла верить.

Сартр родился 21 июня 1905‑го, а я — 21 мая 1935‑го. Однако не думаю — впрочем, мне этого и не хочется, — что проживу без него на этой планете еще целых тридцать лет.

## Глава 10

## Чтение

В череде моих воспоминаний любовь к литературе заметно берет верх над любовью в обычном понимании. Потому что не всегда помнишь, где и когда встретил «его», какое впечатление «он» произвел на тебя именно в тот вечер, и чаще всего даже диву даешься, как же в тот вечер тебя не осенило, что это именно «он», зато литература, напротив, дарит нашей памяти книги, которые как громом поразили — только гром этот куда оглушительнее, отдает прямиком в душу, его воздействие необратимо.

Я отчетливо помню, где прочла — где совершила великие открытия тех книг, которые произвели на меня неизгладимое впечатление на всю жизнь. Помню также, при каких обстоятельствах, когда именно это произошло: как правило, знакомство с этими книгами было неразрывно связано с переломами моего внутреннего мира в годы моего отрочества.

###### \* \* \*

…Признаюсь, что касается чтения, то я прошла по самому что ни на есть классическому пути рядового читателя: «Яства земные» прочла в тринадцать лет, «Человек бунтующий» — в четырнадцать, «Озарения» — в шестнадцать. Я перемахнула те же духовные барьеры, какие подростки преодолевают с незапамятных времен,[[15]](#footnote-15) а посему называю те книги, которые в первую очередь послужили моему открытию самой себя — не только как читателя, но и, в особенности, самой себя как живого существа, — куда в большей степени, нежели открытию их авторов. Я искала в них мораль, созвучную моей, мысль, которая предвосхитила бы мою собственную, — и все это благодаря тому восхищению вкупе с самолюбованием, к каким приводят некоторые книги, прочитанные в соответствующем возрасте. И лишь позже, много позже я отказалась от благородной, но мелодраматичной роли привилегированного читателя, какую избрала для себя, и открыла литературу и ее подлинных героев — писателей. Иными словами, много позже судьба Жюльена Сореля стала волновать меня сильнее моей собственной. Точно так же в личной жизни я далеко не сразу научилась, глядя в глаза любимого, искать в них не свое приукрашенное отражение, а подлинную суть его натуры.

###### \* \* \*

«Яства земные» оказались первой из этих трех библий, написанных — мне было это совершенно очевидно — для меня, чуть ли не мною, первой книгой, указавшей мне, кто я есть в глубине души и чем хотела, чем могла бы стать. Андре Жид — ее автор и мой крестный отец; в таком родстве нынче уже признаются не слишком охотно, а объявлять его книгу своей настольной просто даже смешно. Зато я точно помню, что прочла ее первые фразы — первые наставления к Натанаелю, — вдыхая аромат цветущей акации.

То лето мы проводили в Дофине. Оно выдалось дождливым, и мне было очень скучно — я впала в лирическую меланхолию, свойственную только детям, заточенным в деревенском доме, в то время как за окнами повисла пелена дождя. В тот день — первый погожий денек после проливных дождей, выйдя из дома, я шла по дороге, обсаженной акацией, зажав под мышкой книгу. В те годы в этой деревне рос могучий тополь, который потом, конечно же, срубили под корень, а освободившуюся территорию разбили на участки; таков уж закон нашего времени, но, когда я вновь приехала туда, мне это, конечно же, разбило сердце. Так уж случилось, что именно в тени этого исполина благодаря Андре Жиду мне раскрылась жизнь — во всей ее полноте и крайностях; открылось все, о чем я смутно догадывалась чуть ли не с рождения. Открытие это привело меня в неописуемый восторг. Мириады изумрудно‑зеленых листочков тополиной кроны трепетали высоко над моей головой, и каждый листик в отдельности, казалось, сулил мне частицу счастья, которым меня непременно одарит литература. Но прежде чем взобраться на макушку этого удивительного дерева и сорвать плоды высшего наслаждения книгами, мне еще предстояло срывать, один за другим, тысячи календарных листков своей жизни. А поскольку я не представляла себе, что человек стареет или даже зреет, чтение стало для меня еще одним удовольствием в числе всех тех, что окружали меня с детства: лошади, лица, автомобили, слава, книги, восхищенные взгляды, море, лодки, поцелуи, ночные авиарейсы и многое, многое другое — все, что способно объять необузданное и сентиментальное воображение подростка.

Много позже я случайно перечитала Жида, и на меня снова повеяло ароматом акации, и мне снова померещился мой тополь, но на этот раз я просто‑напросто подумала: «Ничего, сильно пишет». Ведь грому и молнии тоже случается наносить свои удары мимо цели.

###### \* \* \*

Вслед за Андре Жидом пришел Альбер Камю — «Человек бунтующий». Два или три месяца назад я утратила веру в Бога и все еще глупо и опасливо гордилась собой. Произошло это в Лурде, куда меня привезли случайно, и, тоже случайно, однажды на заутрене я увидела рядом с собой рыдающую девочку — мою сверстницу, прикованную к инвалидному креслу, похоже, до конца дней своих. Я испытала чувство отвращения ко всемогущему Богу, дозволяющему подобный кошмар. В порыве праведного гнева я гордо отринула Бога, исключила его из своей жизни, которая в те годы наполовину протекала в религиозных пансионах. Сей мировоззренческий кризис лишил меня аппетита в обед, а вечером в гостиничном номере навел на мрачные размышления о перспективе жизни на нашей Земле без Бога, о мире без справедливости, жалости и Божьей благодати, в котором отныне мне предстоит жить (весь этот ужас я и по сей день не осознала полностью, хотя получаю тому все новые подтверждения). Два месяца я не могла оправиться, как после тяжелой болезни, от своего бесповоротного решения — отторжения всемогущего Бога, а главное — потери одного из «потому что» в ответ на все возможные вопросы. Вот почему для меня стало таким облегчением открытие «Человека бунтующего». Я услышала внушающий доверие голос Камю, который тоже посвящает свой трактат этой трудной теме: жизнь в отсутствие Бога. «В отсутствие бога возник Человек, — поведал мне этот добрый мечтатель, — и заменил его». Так человек дал мне ответ на все вопросы, возникающие от нерадения бога.

###### \* \* \*

Кажется, шел февраль. Дело было в горах, меня в очередной раз выгнали с занятий по географии: за три месяца в моем пансионе это стало уже ритуалом. Я прихватила лыжи и отправилась на горные склоны, в ту пору еще сохранявшие первозданный вид: никаких тебе подъемников, кресельных подвесных дорог, никакой пиццерии (опять жалобная песнь нашего времени!) — словом, речь идет о склонах Виллар‑де‑Ланса. Я сидела на своей теплой куртке в одной рубашке мужского покроя, так как было очень жарко, несмотря на легкий ветерок, который сдувал снег вокруг меня, выметал его как порошок из ложбинок и относил вниз, к аллеям, где он собирался в сугробы и где мне суждено было приземлиться головой вперед примерно полчаса спустя. Но мне было хорошо; я накаталась на лыжах, ноги, руки и спина гудели, я дышала полной грудью, чувствуя, как солнце просушивает мои волосы и кожу. Я ощущала себя хозяйкой своего тела, своих лыж, своей жизни — владелицей всего мира, наслаждалась одиночеством под ярко‑голубым небом, и мне было на удивление безразлично, что оно опустело. Человеческие существа, их дух, их противоречия, жар их сердец, их нервы, терзания, желания, удачи и неудачи, воля, страсть — все это ожидало меня чуть пониже, чуть подальше, чуть позднее — ведь мне было всего лишь четырнадцать лет, и прежде чем я попробую на вкус этот век, стану в нем на прочную ногу, мне предстояло прожить еще два или три года сладкого ничегонеделания — два изумительных года я буду притворяться, что учусь, а на самом деле буду читать, стараться понять, предчувствовать и предвкушать чудесное будущее. «Чего же мне еще просить у Бога?» — насмешливо спрашивала я себя.

И что мог сделать мне Бог, коль скоро я уже родилась, мое сердце бьется, перекачивая горячую кровь, тело живет, белый и скользкий склон расстилается под моими ногами, стоит мне хорошенько оттолкнуться. И если даже я упаду на спуске, всегда найдутся мужчины с горячим сердцем, из жарких стран, найдутся друзья, человеческие существа, первый — Альбер Камю, защитник слабых, борец за справедливость; он верит в человека, в его гуманное начало, знает, в чем смысл нашего бытия, и готов напомнить о нем мне, если я его ненароком позабуду. В этот конкретный момент я верила не столько в человечество, сколько в человека по имени Альбер Камю, который так хорошо владел пером и чье фото на супере являло мне привлекательное лицо настоящего мужчины. Вполне возможно, что отсутствие Бога меня беспокоило бы больше, окажись Камю лысым — однако же нет. «Человека бунтующего» я потом перечитала и более чем утвердилась в своем первом впечатлении: он и вправду попадал точно в цель и, похоже, вправду доверял человеческой натуре.

###### \* \* \*

Третья из моих книг была наиболее далека для меня и в то же время наиболее мне близка. Далека потому, что я не нашла в ней никакой пищи для утоления своего самолюбования, никакого применения для себя, призыва и даже примера для подражания. Близка же она была потому, что я нашла в ней слова, примеры возможного их употребления, ощущала абсолютную власть слов. До этого я прочла из Рембо только то, что читали все французские школьники: «Утонувшего в долине» и первые строфы из «Пьяного корабля». Но в то утро, после ночи, проведенной за чтением почти что без сна — так, несколько рановато, началась длинная череда моих ночных бдений, — в то утро я встала, пошатываясь от усталости, в доме, который мои родители сняли в Андае на время школьных каникул, и, зажав под мышкой томик Рембо, отправилась на пляж, где в восемь утра не было ни души. Он выглядел еще серым под баскскими тучами, проносившимися над моей головой, как подразделение бомбардировщиков. Погода в то утро была отнюдь не июльская, и мне пришлось расположиться под «нашим» тентом, не снимая фуфайки, надетой поверх купальника. Даже не знаю, почему я прихватила именно сборник Артюра Рембо — должно быть, мне рисовалась картина: юная девушка читает стихи на пляже, я воображала, что это красиво. Всем известно, насколько такое воображение руководит поступками и шагами несчастного и самоуверенного, постоянно униженного и безмерно гордого существа — пятнадцатилетнего подростка тех времен, впрочем, подростки и сегодня такие же, и никто не сможет меня в этом переубедить. Короче, расстелив махровое полотенце и улегшись ничком — голова под тентом, а ноги скрючены на холодном песке, — я наугад раскрыла плотные страницы белой книги под названием «Озарения». И меня сразило наповал, как ударом молнии.

###### \* \* \*

«Я окинул взором летний рассвет.

Вокруг все было еще недвижно. Вода казалась стоячей. Густые тени покидали лесную дорогу. Я шел, пробуждая живое, теплое дыхание, и драгоценные камни взирали на меня, а крылья бесшумно поднимали птиц в воздух».[[16]](#footnote-16)

Ах! Мне вдруг стало безразлично, что Бога больше нет. И даже люди, человеческие существа, стали безразличны, и даже тот, кто однажды полюбит меня. Слова поднимались со страниц, с порывами ветра бились о брезентовый навес и падали прямо на меня. Образ сменялся образом, великолепие — яростью.

###### \* \* \*

«У начала дороги рос возле лавровой рощи лавр. Я обвил рассвет собранной паутиной и ощутил его необъятность. К стопам дерева приникли рассвет и ребенок.

Когда я проснулся, был уже полдень».

###### \* \* \*

Эти строки принадлежат гению, которому посчастливилось описать красоту Земли. То было новое и окончательное доказательство того, о чем я стала подозревать, прочитав свою первую книгу без картинок, а именно: литература — это все. Она включает в себя все уже сама по себе, и если кто‑либо, занятый другими делами или другими искусствами, пока еще не ведает того, то меня, по крайней мере, это сейчас осенило. Литература всеобъемлюща: она вмещает и лучшее, и самое худшее, и роковое. Теперь, с этого момента, мне уже не оставалось ничего иного, как схлестнуться с нею, вступить в единоборство со словами — ее рабами и нашими господами. Мне надлежало бежать за ней, подтянуться до нее — не важно, до каких ее высот. И пусть, прочитав то, что я прочла сейчас, я поняла, что мне никогда не написать так, как автор этих строк, все равно я знала, что красота написанного обязывала и меня устремиться в том же направлении.

###### \* \* \*

А впрочем, какое значение имеет тут иерархия! Как будто, чтобы потушить пожар, когда дом уже охвачен пламенем, годятся только самые прыткие, самые быстрые; как будто при пожаре пригодны не любые руки, способные принести воды; как будто имеет значение, что меня еще на старте обскакал поэт Артюр Рембо… После того как я прочла его «Озарения», литература неизменно создавала у меня такое впечатление, будто где‑то разгорелся пожар, да что там где‑то — повсюду, и мне выпало на долю его тушить. Наверное, именно поэтому даже к самым расчетливым, самым бездарным, самым циничным, самым вульгарным, самым глупым и самым хватким писателям, здравствующим или усопшим, я никогда не могла относиться с полным презрением. Я знаю — однажды они услышали набатный колокол и время от времени, пусть помимо собственной воли, бросаются гасить пожар без надежды на успех и, топчась вокруг пожарища, обжигаются так же сильно, как и те, кто бросается в полыхающий огонь. Короче, в то утро я открыла для себя то, что полюбила и стану любить превыше всего и до конца дней своих, — литературу.

###### \* \* \*

После этих трех открытий, которые можно было бы отнести вполне серьезно к области морали, философии и эстетики, наступила очередь открытия писателей. Я перестала до одури вести нескончаемые беседы сама с собой, со своим отрочеством и проникла в волшебный мир литературного творчества, который перенаселен, хотя каждый творит в одиночку.

Летом на юго‑востоке Франции стоит невообразимая жара, а на чердаке дома моей бабушки с его слуховыми оконцами и трухлявыми балками под накаленной черепицей и вовсе настоящее пекло. Так что туда не забирается ни одна душа. Книжный шкаф — неотъемлемый предмет обстановки всех французских респектабельных домов — давно уже выдворили именно туда. Там можно было отыскать все те книги, читать которые мне еще возбранялось; самой «развратной» из них, кажется, считалась «Люди культуры» Клода Фаррера — превосходно изданная: желтый переплет, черные офорты. Я добралась до нее, но, похоже, сейчас она никого не умиляет, кроме людей моего поколения и ему предшествовавших. Словом, чего только тут не оказалось — кошмарная мешанина из Делли, Пьера Лоти, Лафонтена, выпуски коллекции «Маска»,[[17]](#footnote-17) среди которых затесались три романа Достоевского, том Монтеня и единственный из четырнадцати романов Пруста — «Исчезновение Альбертины». Не стану распространяться о прелестях этого места: специфический запах закрытых помещений, пылища и очарование, присущие всем чердакам детства, во всяком случае, для тех мальчиков и девочек, которым посчастливилось в детстве попасть на чердак.

Помнится, пот выступал у меня крупными каплями, но я сидела не шелохнувшись в глубоком, давно протершемся плюшевом кресле, случалось, дивясь шагам прохожего, который рискнул осматривать город в час сиесты.

С той поры мне нередко встречались люди, не сумевшие осилить Пруста: «не читалось». Сван, герой его знаменитого романа «Любовь Свана», им не давался, приводил их в замешательство, навевал скуку. И, думается, доведись мне самой начать чтение этой эпопеи с любви Одетты и детства рассказчика, мне было бы куда труднее освоиться в нескончаемых описаниях жизни дворянских семейств. Читая «Исчезновение Альбертины», я сразу же подключилась к драме. Я начала с единственной перипетии, описанной Прустом в его эпопее, — с единственного события, с того единственного раза, когда писатель отстраняется, за него «говорит» телеграмма о трагическом случае. Она гласит: «Мой бедный друг, нашей малышки Альбертины не стало, простите за то, что я сообщаю об этом ужасном происшествии вам, так ее любившему. На прогулке лошадь выбросила Альбертину из седла, она ударилась о дерево и разбилась…»

Я начала читать Пруста с этой фразы, после чего с головой окунулась в печаль и отчаяние — в повествование, растянутое до умопомрачения, неумолимо нагнетаемое, комментируемое и подстегиваемое рассказчиком. Рекомендуя именно этот путь, я помогла многочисленным друзьям, ранее пасовавшим перед сложностью этого писателя, полюбить его творчество. Как и меня, их захватило «Исчезновение Альбертины».

Но благодаря этой книге, которую не устаю перечитывать — разумеется, наряду с другими, — я открыла еще кое‑что: я открыла, что правда не имеет пределов — ни вширь, ни вглубь, что правда о человеке слышится везде и повсюду открыта нашим глазам, но при этом она недостижима так, как ничто другое, и в то же время, как ничто другое, желанна.

Я открыла также, что сама материя литературы, с того момента, как ее отправной точкой становится человек, беспредельна. И если бы я захотела, если бы взялась описывать рождение и смерть какого‑либо чувства, у меня ушла бы на это вся жизнь, и, даже написав тысячи страниц, я не сумела бы исчерпать предмета, не смогла бы сказать себе: я достигла цели.

Я открыла невозможность довести такой замысел до конца. В лучшем случае я остановилась бы на полдороге, осуществив лишь тысячную долю задуманного.

Я открыла, что человеческое существо — заменило ли оно Бога или нет, надежно ли оно или ничтожно, эта пылинка, чье сознание всеобъемлюще, — что человеческое существо — та единственная дичь, за которой я буду гоняться всю жизнь и никогда не смогу настичь, единственное, что меня интересует. И, быть может, только изредка, в моменты высшего счастья, даруемого творчеством, мне почудится, будто я коснусь предмета моего интереса.

А еще, тоже читая Пруста, открывая это бесподобное творческое безумие, эту страсть — не подвластную никакому контролю и в то же время всегда строго контролируемую, я поняла, что писать — не пустое слово, не приятное времяпрепровождение и что, вопреки идее, витавшей уже тогда в воздухе, настоящих писателей не больше, чем настоящих художников или музыкантов.

Я открыла, что талант писателя — подарок судьбы, которым она награждает немногих, и что жалкие потуги ничтожеств, пожелавших сделать на писательстве карьеру или искавших, чем бы занять время, кощунственны; что литературное творчество требует особого, редкого дара, коему нет цены — истина, ставшая в наши дни неуместной и почти что нелепой. Однако литература, со снисходительным презрением относясь к лжепроповедникам и узурпаторам, мстит сама за себя: из тех, кто смеет подвизаться в ней, она делает импотентов и жалких горемык, не даруя им ничего, разве что иногда, в отместку, преходящий успех, который опустошает на всю жизнь.

###### \* \* \*

И наконец, благодаря Прусту я познала всю сложность и смысл иерархии в писательском деле. Да что говорить: я всем обязана Прусту!

###### \* \* \*

Однако сегодня, вспоминая, как впервые читала любимые книги и какие этому сопутствовали обстоятельства, я должна признаться в кое‑чем еще. Хотя я не в состоянии объяснить и даже понять, как протекала моя жизнь; хотя ничего не знаю, ничему не научилась за прожитые годы, которые легче всего охарактеризовать как бурные, в них мне всегда остаются как бы трамплины — или ориентиры — эти четыре названия, четыре автора. И пусть теперь я по‑настоящему ценю лишь двух из них, тем не менее сколько раз именно к ним обращался мой ум, именно с ними связаны самые живучие и самые значимые для меня воспоминания.

Эти книги повлияли не только на мой ум, они также обострили мои чувства — обоняние, слух, зрение и даже осязание, тогда как воспоминания сердца всегда оставались туманными, или, скажем так, с ними всегда бывает связано только одно чувство.

Блеск глаз, смотрящих на меня, впервые влюбленную, запах дождя или вкус кофе при первом в жизни разрыве отношений обострялись, но в ущерб всему остальному. Шел ли дождь во время того, первого, поцелуя, говорили ли мне «прощай», опустив взгляд?.. Не могу вспомнить ничего определенного — слишком я жила собственными ощущениями. А надо было прожить чью‑то жизнь — то есть надо было читать, чтобы обрести способность наконец‑то воспринимать собственную жизнь всеми пятью чувствами.

1984

1. Litters (англ.) — мусор, здесь: «для мусора», в отличие от «lettres» (фр.) — письма, здесь: «почтовый ящик». [↑](#footnote-ref-1)
2. Да вы просто сумасшедшие!.. (англ.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Знаешь, я очень скоро умру в Нью‑Йорке, и никого не будет рядом, кроме двух полицейских (англ.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Великосветский (англ.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Веселые люди, весельчаки, педики (англ.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Когда же, когда, когда?.. (строка из песни) (итал.) [↑](#footnote-ref-6)
7. Здесь: потрясная девчонка (англ.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Дорогая (англ.) [↑](#footnote-ref-8)
9. Я хочу следовать своему призванию (англ.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Ipso facto — само собой (лат.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Средневековый французский поэт. [↑](#footnote-ref-11)
12. Фейдо — французский драматург (1862–1921), автор водевилей. [↑](#footnote-ref-12)
13. Liece — ристалище (фр.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Dule‑coat— стеганое пуховое пальто. [↑](#footnote-ref-14)
15. Автор без кавычек цитирует выражение, принадлежащее Колетт: «Depuis des lustres». [↑](#footnote-ref-15)
16. Здесь и далее подстрочный перевод Л. Завьяловой. [↑](#footnote-ref-16)
17. «Маска» — серия детективных романов, основанная писателем Альбером Пигасом в XIX в., существующая и поныне. (Прим. перев.) [↑](#footnote-ref-17)